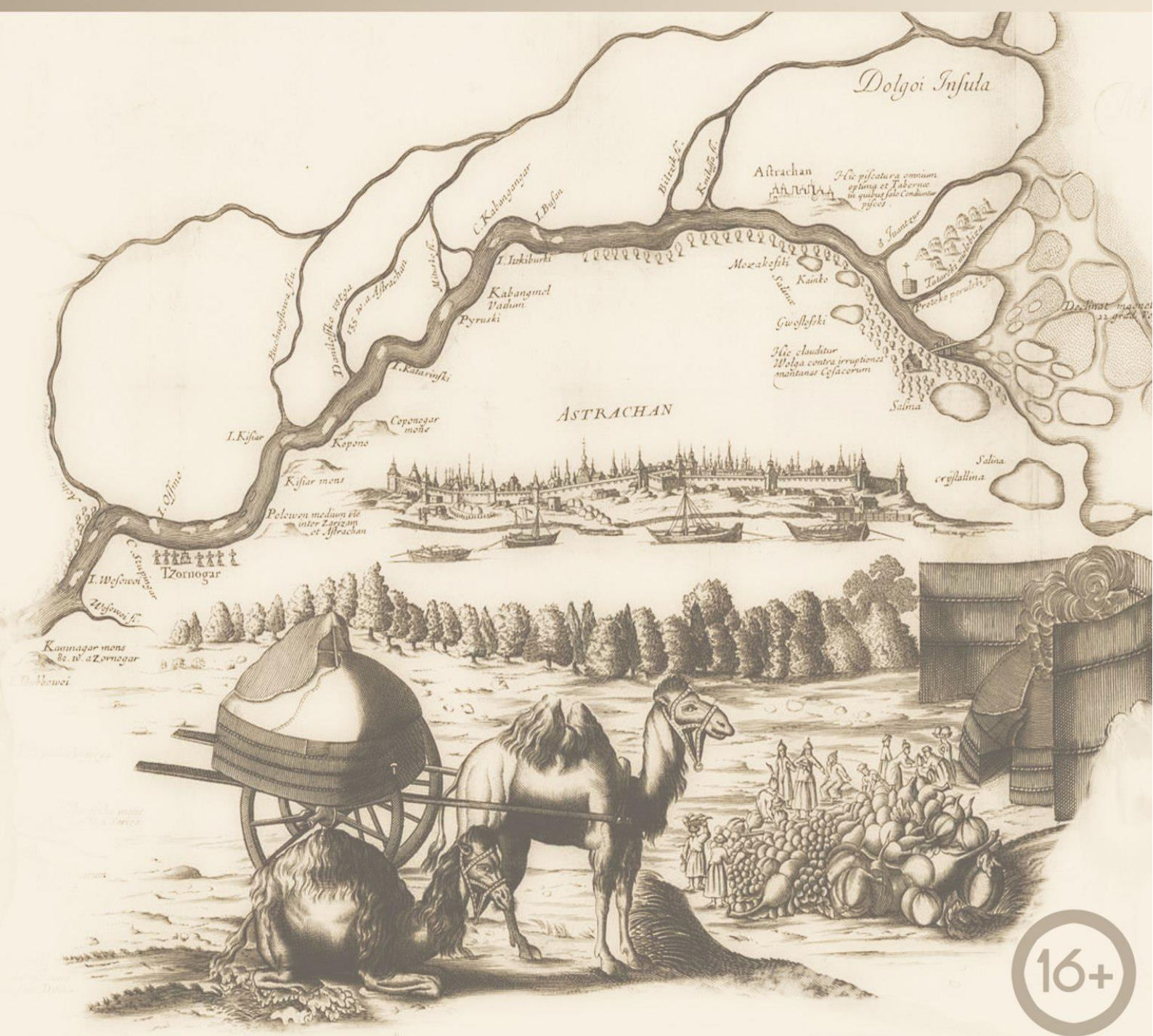




2018-I

Journal of Frontier Studies

ЖУРНАЛ ФРОНТИРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ



16+

ISSN: 2500-0225

ЖУРНАЛ ФРОНТИРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Научный электронный журнал

**www.jfs.today
www.frontierstudies.com**

№1 (9)

2018

ISSN: 2500-0225

JOURNAL OF FRONTIER STUDIES

Scientific e-journal

**www.jfs.today
www.frontierstudies.com**

№1 (9)

2018

ЖУРНАЛ ФРОНТИРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

2018, №1 (9)
Основан в 2016 г.

Журнал является периодическим изданием, выходящим четыре раза в год, не имеющим печатной версии. В журнале публикуются научные статьи, рецензии, информационные ресурсы, отчеты об экспедициях, конференциях и прочие научные материалы.

Журнал является рецензируемым научным изданием, посвященным проблемам фронта. Все статьи перед публикацией проходят экспертную оценку ведущих ученых.

- Государственная регистрация в Роскомнадзоре: Свидетельство о регистрации СМИ (электронная версия): Эл № ФС77-61330 от 07 апреля 2015 г.
- ISSN: 2500-0225
- Предназначено для лиц старше 16 лет

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ:

Якушенков Сергей Николаевич, доктор исторических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
Романова Анна Петровна, доктор философских наук, профессор, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет».

РЕДАКТОР АНГЛИЙСКОЙ ВЕРСИИ

Саракаева Элина Алиевна, кандидат филологических наук, доцент, Хайнаньский университет, Хайкоу (КНР)

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР:

Алиев Растям Туктарович, кандидат исторических наук, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Якушенков Сергей Николаевич, (Главный редактор), доктор исторических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
Романова Анна Петровна, доктор философских наук, профессор, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»

Морозова Елена Васильевна, доктор философских наук, профессор, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»

Федорова Мария Михайловна, доктор политических наук, ИФ РАН

Гринев Андрей Вальтерович, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), профессор кафедры культурологии и социологии Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (СПбГПУ)

Кирчанов Максим Валерьевич, доктор исторических наук, доцент, доцент кафедры регионоведения и экономики зарубежных стран факультета международных отношений ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»

Khodarkovsky Michael, Ph.D. in History, professor of Loyola University Chicago

Romaniello Matthew P., Ph.D. in History, associate Professor of History, University of Hawaii at Manoa; associate Editor «The Journal of World History»

Geraci Robert P., Ph.D. in History, associate Professor of Department of History of University of Virginia

Sunderland Willard, Ph.D. in History, Henry R. Winkler Professor of Modern History, Department of History, University of Cincinnati.

КОНТАКТЫ:

По издательским вопросам: Главный редактор журнала (Якушенков Сергей Николаевич)

E-mail: editorialboard.jsf@gmail.com

По организационным вопросам: Дирекция журнала (Топчиев Михаил Сергеевич)

E-mail: G.F.N@inbox.ru

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Генезис. Фронтир. Наука».

Адрес: г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 24, кв. 88

Все статьи публикуются в авторской редакции. Мнение редколлегии журнала может не совпадать с мнением авторов.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Яковлева Е.Л.

Фронтирность гастрономических повседневных практик7

Кирчанов М.В.

Исторические гранд нарративы Семи королевств Вестероса: от изобретения к деконструкции традиционной средневековой историографии17

Толстокорова А.В.

Фамильные фронтиры: гендерные стратегии сопротивления рискам трансграничности в эмоциональной культуре мобильного родительства47

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ НА ФРОНТИРЕ

Ходарковский М.

Белый царь и его «ненадежные» подданные: межкультурная дипломатия на азиатском фронтире России68

Якушенков С.Н.

Семантическое разнообразие образов индейца в Новой Англии в XVIII в.. Часть 2.91

CONTENT

THEORETICAL QUESTIONS

Iakovleva E.L.

Frontierness of gastronomical daily practices7

Kyrchanoff M.W.

Historical grand narratives of the Seven kingdoms of Westeros: from invention to deconstruction of a traditional medieval historiography.....17

Tolstokorova A.V.

Family frontiers: gendered strategies of resistance to risks of cross-borderiness in the emotional culture of mobile parenting.....47

INTERCULTURAL COMMUNICATION ON FRONTIER

Khodarkovsky M.

The white tsar and his “unfaithful” subjects: intercultural diplomacies on Russia's asian frontier68

Yakushenkov S.N.

Semantic diversity of images of the indian in New england in the XVIII century. Part 2..91

ФРОНТИРНОСТЬ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ПОВСЕДНЕВНЫХ ПРАКТИК

Яковлева Е.Л.

Яковлева Елена Людвиговна, Казанский инновационный университет
им. В.Г. Тимирязева, 420111, Казань, Россия, ул. Московская, 42.
Эл. почта: mifoigra@mail.ru

Объектом исследования стали повседневные гастрономические практики личности и феномен еды, при анализе которых обнаружены элементы фронтирности. Потребление пищи как обязательная физиологическая потребность и забота о себе в бытии личности связана с периодическим освоением неосвоенного, привнесением Другого в свое пространство. При этом личность вследствие ежедневного вкушения, переходов от голода к насыщению благодаря пище постоянно открывает горизонты нового, тем самым расширяя свои пространства и захватывая Другое, становящегося собственным, присвоенным. Данному обстоятельству способствует повторяемая неповторяемость/неповторяемая повторяемость любого блюда, вкус которого каждый раз оказывается Другим, стимулируемое обществом потребления чувство новизны гастрономического опыта и желание попробовать, статусный пафос гастрономических практик и развитие гастрономического туризма. Более того, желание дегустировать блюда связаны с мистической составляющей кухни: несмотря на фиксированность рецепта, тем не менее никогда одно и то же блюдо не имеет повторяющегося вкуса. Вследствие перечисленного гастрономический опыт личности представляет собой бесконечно расширяющееся пространство, формирующее вкус и рождающее желание вкушать, а значит – захватывать и привносить новое в свой мир, постоянно осмысляя его.

Ключевые слова: повседневные практики, еда, гастрономическая культура, фронтирность, Другое, голод, вкусовой диапазон.

Повседневность как жизненный мир каждого человека и пространство бытия его тела включает в себя многочисленные практики, многие из которых имеют характер *фронтира*. Дело в том, что в повседневном опыте личности мы встречаем не только хорошо освоенные пространства и алгоритмы проявления в них, но и новые, требующие освоения и формирования навыков/умений, помогающих закрепиться в бытии. Именно благодаря повседневным практикам, где действуют пространственная координата – *здесь* и временная – *сейчас*, рождается *биографическая ситуации* личности, нуждающаяся в смыслах и осмыслении происходящего.

Повседневность в своей наглядной практичности и *переживании/пере-живании* биографических ситуаций, демонстрирующих ставшее/освоенное/бытийное из неставшего/неосвоенного/небытийного, представляет возможность

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

индивиду расширять свой мир, постоянно переходя новые границы/рубежи. В данном переходе как ставшем/освоенном/бытийном необходимо постигать осуществленные смыслы, подчиняющиеся определенным процессам социокультурного и личного бытия. *Здесь и сейчас* повседневности, попавшие в оптику рефлексии индивида, способствуют непрерывности временной линии и выстраиванию навигационного курса биографии от прошлого через настоящее к будущему. Неслучайно, анализируя повседневность, мы выделяем два уровня ее восприятия: чувственный, связанный с переживанием человеком будней, и рефлексивный, опирающийся на осмысление и оценивание происходящего и пережитого. Безусловно, на личную оценку восприятия повседневного мира влияет социокультурное пространство (*повседневность социальна*), в том числе такие его сферы как экономическая, политическая, религиозная, медийная. Также на повседневные практики оказывает существенное воздействие культурная среда и индивидуальный опыт, что способствует п(р)оявлению *многообразности* и *многообразия* действительности. Среди повседневных практик, связанных с заботой о себе и в тоже время играющих роль пограничной ситуации между освоенным и неосвоенным, можно назвать питание.

Необходимо заметить, что о многих составляющих кухни и еды человек не задумывается, считая процесс принятия пищи повседневной данностью и даже рутинностью. Но пищевой дискурс оказывается настолько многогранным, что выводит на широкий круг проблем, связанных с жизнедеятельностью и повседневными практиками личности.

Сегодня интерес к еде набирает обороты, о чем свидетельствуют различные книги о ней, специализированные журналы и обязательные рубрики в гляцевых (неспециализированных) журналах, фотоальбомы с рецептами, гламурные передачи и конкурсы, связанные с приготовлением пищи, различные дегустации и пр. Популярностью пользуется кулинарный туризм, знакомящий желающих с кухней народов мира. В связи с этим, гастрономическая культура и приготовление пищи оказываются не только составной частью повседневных практик, но и превращаются в публичное зрелище, где люди, в том числе, знакомятся с особенностями потребления экзотических блюд. Перечисленное говорит в пользу *фронтирности* еды, требуя прояснения ситуации.

Объектом исследования становятся гастрономические практики личности. Обозначенная проблема рассматривается на основе феноменологического метода и принципа интенционального анализа,

помогающих построить модель фронтирности гастрономического опыта личности.

Еда оказывается одним из интересных элементов повседневного мира. Как правило, человек кушает несколько раз в день, удовлетворяя физиологическую потребность в еде и восполняя энергетический баланс организма. Качество и количество потребляемой пищи влияют на здоровье, трудовую деятельность, настроение и даже творческие способности личности. Пища входит в жизнь человека как ответ на запрос голодного тела, удовлетворяя которое она выполняет *функцию заботы*. Именно в переходах от голода к насыщению и опять к голоду протекает жизнь, что сказывается и на процессе конструирования индивида. Более того, этапы голода и на(пре)сыщения характеризуют и историю человечества, в которой периоды нехватки пищи и ее изобилия чередовались между собой. Таким образом, чередование голода/сытости в бытии есть ничто иное как процесс освоения неосвоенного, привносимого в жизнь и имеющего тенденцию к истощению себя, что требует восполнения утраченного. Фронтирная ситуация гастрономической практики способствует встраиванию индивида в культурные (в том числе, новые) условия, заставляя принимать Другое и адаптируя его к своему. Играя роль особого порядка бытия, *пища как иное* помогает преодолеть чувство голода, испытывая при этом наслаждение/отвращение. В результате вкушения пища становится частичкой Я, некоей *тождественностью* самости, то есть еда олицетворяет собой *метаморфозу Другого в свое*, помогая существованию не только телесного, но и духовного. Неслучайно натюрморты в живописи, художественные описания трапез в литературе можно назвать излюбленными сюжетами творческих людей.

Подчеркнем, *голод* уникален. Он способствует интенсивному развитию человечества, заставляя людей пройти через испытания, проявляя не только мужество, терпение, но и креативные способности. Благодаря голоду личность испытывает нужду, толкающую ее на освоение нового. При этом данное освоение сопряжено с желанием поэкспериментировать с имеющимся под руками и попробовать приготовленное. Вспомним, в условиях советского дефицита на какие хитрости шли хозяйки, изобретая собственные рецепты вкусного и сытного обеда для семьи.

Современные антропологи пришли к интересному выводу. Они считают, что изначально у человека отсутствовала пищевая специализация. Именно данный факт стал отправной точкой для различных путей освоения мира посредством пищи и, соответственно,

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

культурного развития. Разнообразие пищи, порядок ее приготовления и поглощения связаны с природной средой, обуславливающей особенности кухни и ее спецификацию. Постепенное открытие тех или иных способов приготовления пищи (варение/жарение/копчение/вяление/соление и пр.) влияло на образ жизни людей. Перечисленное свидетельствует о многочисленных (порою интуитивных) экспериментах с продуктами, которые у различных народов были неодинаковыми. В результате этого складывались неповторимые национальные кухни, свидетельствующие о специфичных способах освоения неосвоенного этносами.

Обратим внимание на один интересный пассаж, о котором нередко человек не задумывается. Личность, поглощая пищу (даже в определенной группе людей), подвергается метаморфозам. Неожиданно социальная общность вкушающих растворяется или становится неким единым организмом. Каждый индивид оказывается *один на один* со своей тарелкой как целым миром, погружение и освоение которого вызывает многочисленные ощущения (вкусовые, эстетические, интеллектуальные и пр.). Сама вкушаемая пища оценивается индивидом по разным параметрам: например, по вкусу, качеству, технологии приготовления, сытности, внешнему виду. Несмотря на глубоко субъективный, единоличный контакт со своей тарелкой, освоение ее содержимого оказывается позитивным: индивид, поглощая пищу, испытывает колоссальную палитру ощущений. Благодаря пище личность переходит от голодного состояния к сытому. Неслучайно о еде (даже маленькой тарелочке с пищей) можно говорить, как о целом мире, оказывающем колоссальное воздействие на личность. Сама вкушаемая еда демонстрирует человека многогранно: его культуру, вкусовые предпочтения, умение выстраивать диалог с блюдом. При этом, делясь вкусовыми впечатлениями с людьми, разделяющими трапезу, можно обнаружить и определенную общность чувств и эмоций у разных людей от вкушаемых блюд.

Пища, выступая параметром материального мира, помогает осуществить личности (материальное и духовное) взаимодействие с этим миром. Испытывая голод, заложенный природой в алгоритм человеческой жизнедеятельности, личность удовлетворяет его, в том числе, посредством окружающего мира. Данный факт заставляет выстраивать определенные взаимоотношения с окружающей средой, которые определяют в дальнейшем и взаимодействие с людьми. Человек благодаря еде вступает в определенные отношения с бытием,

гарантирующие ему, в том числе насыщение и наслаждение, а значит – первичное счастье существования.

В современности акцент с традиционно-ритуального потребления пищи переносится на показное, рекламнопотребительское, свидетельствуя о новом модусе освоения пространств. Так, в пространстве гламурного общества получает широкое распространение процесс демонстративного и престижного потребления пищи, обусловленный многими причинами. Среди них особо выделим модные тенденции в гастрономии и вкусовых предпочтениях, показывающие социальный статус личности. Еда начинает выполнять функцию статуса. Так, Т. Веблен в книге «Теория праздного класса» (1984) подчеркивает: «образ жизни и модели потребления не только отражают социальные различия, но также и действуют как средство поддержания социального статуса» (стр. 93). Как видно из приведенной цитаты, потребление пищи оказывается символом статуса индивида.

Современная культура безудержного потребления, выставляющая себя в наглядных глянцевах образах (в том числе, пищевых), постоянно стимулирует в человеке желание *попробовать что-то новое*, нехарактерное и необычное для его повседневных гастрономических практик. В итоге индивид, постоянно пробуя и дегустируя, расширяет свой *вкусовой диапазон*, либо включая в свой рацион новые блюда, либо отвергая их. При этом вкус-удовольствие обуславливает вкус-выбор (например, в кулинарных блюдах), что позволяет говорить о рационализации и рефлексивности не только суждений, но и пристрастий человека по отношению к еде.

Развивая вкус-удовольствие и постоянно осваивая новые гастрономические пространства, личность возвращает в себе гурмана. А. Гримо де ла Реньер в своем «Альманахе гурманов», характеризуя Гурмана как человека одаренного и деликатного, рассуждает о его вкусе. Он непременно должен быть *просвещенным*, то есть сочетающим в себе «чувствительнейшее небо и превеликую опытность». При этом «все чувства Гурмана должны отвечать его вкусу, ибо он должен угадывать сущность всякого яства еще прежде, чем поднесет его к губам», то есть «взор его должен быть пронизателен, слух чуток, осязание безошибочно, а язык всегда наготове» (Гримо де ла Реньер, 2014, стр. 409). В рассуждениях А. Гримо де ла Реньер о Гурмане неявно присутствует идея о том, что развитый гастрономический вкус есть результат обучения, опыта и проявления интуиции. Заметим, в татарском фольклоре можно обнаружить характеристику гурмана как человека, разбирающегося во вкусной еде: «и из вкусного выбирают по вкусу» (Махмутов, 2017,

стр. 222). В данной пословице неявно присутствует элемент фронтирности, указывающий на выбор среди неизвестного/известного вкусного.

Еще одной чертой фронтирности гастрономической повседневной практики оказывается современный рамочный формат жизни (или как определяет К.С. Пигров, *«рамочная экзистенция», «рамочное бытие»*). Дело в том, что современная жизнь комфортна и стандартизирована, в ней периодически появляются новинки, в том числе, пищевые. Постоянно пробуя все новое, рекламируемое посредством СМИ и медиа-сферы, у человека складываются ассоциативные чувственные формулы как «смыслы, которые рождаются зрительным и слуховым пространствами»: например, «вкус кофе и вкус ветчины, запах сигарет Честерфилд и дезодорантов, тактильный мир кнопок и рычагов управления автомобиля» (Пигров, 2003, стр. 149). Перечисленное, ограничивая «сенсорный мир современного цивилизованного человека», рождает своеобразный *«сенсорный голод»*. Индивид, постоянно ощущает нехватку эмоций, что значительно ограничивает его мир и творческий потенциал. Ведь чтобы «представить знание о полноте бытия», необходимо *«само непосредственное переживание полноты бытия»* (Пигров, 2003, стр. 151). Вследствие этого личность постоянно ходит за впечатлениями, осваивая новые горизонты и интересуясь, не в последнюю очередь, гастрономической культурой и кухней народов мира, то есть тем, что ему неизвестно с целью освоения Другого/иного и привнесения в свою жизнь.

Вкушая национальное/экзотическое блюдо и испытывая неповторимые ощущения *здесь-и-сейчас*, личность одновременно приобщается к вечности (рецепт национальной кухни всегда проходит испытание множеством поколений людей, а значит – временем), Иному (в виде еды, проникающей в организм и питающей его), Другим людям, создавшим и сохранившим рецепт (во времени/пространстве и по национальности) и собственному Я-Другому. Я-голодный и Я-сытый – различные ипостаси личности, оказывающиеся по отношению к друг другу *иными*.

Каждый вкусовой опыт личности в ее повседневных гастрономических практиках оказывается неповторимым и уникальным, что свидетельствует о мистической составляющей пищи. Дело в том, что прием пищи демонстрирует *повторяемую неповторяемость/неповторяемую повторяемость*. В чем суть данного интеллектуального каламбура? Несмотря на фиксированный рецепт блюда, тем не менее, мы не сможем найти одинаковых результатов даже у одной хозяйки, постоянно импровизирующей на

кухне и улучшающей вкус еды. Так, «выпечку... невозможно делать каждый раз одинаковой, ибо каждый раз мука может быть разного помола, иметь разную влажность, яйца будут разной величины, молоку будет присуща разная жирность, а воде – разная жесткость» (Адиатуллин, 2011, стр. 34). Также вкус выпечки можно варьировать, изменяя вид муки или ее порции, жидкость, добавляя к ней «то сметану, то сыворотку, то подсолнечное или оливковое масло, а то и разные соки и т. д.» (Адиатуллин, 2011, стр. 34). Каждая подобная импровизация привносит новый вкусовой оттенок в блюдо. Данный аспект еды, связанный с ее *повторяемой неповторяемостью/неповторяемой повторяемостью*, рождает желание осваивать гастрономические миры, в том числе Других.

Особое место в приготовлении пищи имеет внутренний мир хозяйки, раскрывающийся посредством приготавливаемых блюд и приглашающий прикоснуться к нему посредством вкушения. Хозяйка должна готовить еду с воодушевлением и любовью, излучая счастье, что передается как приготовленной пище, так и тем, кому она уготована. Ф. Ибрагимова (2017) наставляла: «старайся завершить все свои дела к тому времени, когда твой супруг и дети приходят домой. Пусть на лице у тебя будет живая улыбка. Не открывай дверь с недовольным лицом. Их спокойствие в этом доме зависит от тебя» (стр. 20). Как истинная татарская женщина Ф. Ибрагимова рекомендовала: каково бы трудно не было женщине, она никогда не должна показывать этого другим. Возможно, в этом сказывается мусульманская покорность, женская мудрость и философия татарского гостеприимства. Хозяйка «должна быть счастлива. Иногда у меня не было достаточно денег. Но я делала так, что мои друзья даже не догадывались об этом! Пусть и с трудом, я все же находила деньги и накрывала на стол, тем самым давая понять своим друзьям, что ценю их» (Ибрагимова, 2017, стр. 20).

Более того, каждый культурно-исторический период, несмотря на существование фиксированных рецептов, рождает собственный колорит вкуса, зависящий, например, от технологий и способов приготовления (на свежем воздухе или в помещении, в печи, на газовой, электрической, индукционной плите или в микроволновой печи), что позволяет говорить о *мимолетности вкуса*. Для современной личности, жителя мегаполиса, вкушение блюда, приготовленного в печи, становится редкостью и относиться к разряду пищевого изыска и элитной трапезы, расширяя ее вкусовой горизонт и помогая приобщиться к прошлому/традиционному.

В целом, еда – это особый пласт культуры повседневности, связанный с освоением приготовленного и привнесением его в свою жизнь. Процесс насыщения организма посредством пищи являет собой пограничную ситуацию между освоенным и неосвоенным. Само

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

открытие различных способов добывания, обработки, приготовления и потребления пищи изменило мир и образ жизни людей, расширив границы жизни (в буквальном и переносном смысле). Пища создала человека, который стал продуктом того, что он потребляет, постоянно расширяя свой гастрономический кругозор. Еда и ее потребление требуют от личности открытости съедобным пространствам, воспитывая в индивиде рефлексивность над гастрономическими повседневными практиками, расширяя вкусовые предпочтения и постоянно обновляя оценки вкушаемого. Благодаря еде и складывающейся вокруг нее гастрономической культуре у личности формируется чувство удовольствия/отвращения от принятия пищи, что расширяет ее собственные миры и привносит элемент эмоциональной чувствительности в понимание смыслов жизни.

Вкусовые ощущения и переживания формируют у личности способность отличать по вкусу, качеству и аромату употребляемую пищу. В результате гастрономического опыта у индивида постепенно формируются собственные вкусовые потребности, способности, умения и предпочтения. Как правило, они обусловлены социокультурным контекстом, в котором исторически сложился определенный пищевой рацион, культура приготовления и поглощения пищи, а также перечень употребляемых и табуированных продуктов питания. Обратим внимание на один значимый момент. В каждой культурно-исторической эпохе и у каждого народа незримо присутствуют *нормы питания* как мера измерения общественного в отношении индивидуального. Данные нормы распространяются и на проявление вкуса, выражаясь в гармонической сочетаемости продуктов между собой и перечне определенных (обязательных) блюд в меню. Можно утверждать, что еда и ее потребление, с одной стороны, формирует у личности индивидуальный вкус, а, с другой стороны, – ее вкусовые предпочтения высвечивают социальную общность во вкусовых позициях людей одной среды (эпохальной/этнической/профессиональной и пр.).

Более того, индивид периодически осуществляет знакомство с новыми блюдами, изобретенными или заимствованными из иной национальной кулинарной культуры, что расширяет его вкусовые впечатления и рождает новые стереотипы пищевого поведения. Перечисленное подводит к пониманию, что вкус можно отнести к разряду *благоприобретаемых способностей* личности в результате ее вхождения в мир культуры как *нового захвата при захваченности*.

Гастрономическая культура влияет на физическое и духовное состояние личности. Еда, формируя строение человека и обеспечивая организм питательными элементами, одновременно способствует

духовному становлению личности. Индивид приучается специфически реагировать на пищу, проявляя различные эмоции в ожидании, предвкушении и поедании приготовленного. Весь мир сосредотачивается для личности в одной тарелке, требуя проявления действенного отношения к нему. Еда и ее осознанный выбор заставляют проявлять индивидуальное *хочу, люблю, вкусно*, высвечивая внутренний мир Я и его широту, что демонстрирует не только гастрономическую культуру личности, но и ее отношение к мирозданию.

Еда и искусство ее приготовления таят в себе множество смыслов и символов, заставляя задуматься над фразой «*весь мир в твоей тарелке*». Подчеркнем, это не только объективный мир как место, где личность живет или куда отправляется в путешествие, но и субъективный мир, связанный с осознанным выбором меню и проявлением вкусовых предпочтений. Мир гастрономической культуры динамичен: он постоянно расширяется, раздвигая горизонты для личного захвата вкушаемого, оказывающегося захваченно-незахваченным, что демонстрирует фронтирность гастрономических повседневных практик.

Список литературы

- Веблен, Т. (1984). *Теория праздного класса*. М.: Прогресс.
- Гримо де ла Реньер, А. (2014). *Альманах гурманов*. М.: НЛО.
- Махмутов, Х.Ш. (2017). Татарское народное творчество: в 15 т. Т. 6: *Пословицы и поговорки*/ Сост. Х.Ш. Махмутов. Казань: Татарское книжное издательство.
- Пигров, К.С. (2003). *Философия в сенсорных пространствах* (С.147-158). СПб.: Санкт-Петербургское философское общество.
- Адиатуллин, Ф.З. (2011). *Настоящая татарская кухня. История народа и его кухни. Рецепты национальных блюд*. СПб.: Диля.
- Ибрагимова, Ф. (2017). *Мастер кулинарии: подарок для дам*. Казань: Познание.

FRONTIERNESS OF GASTRONOMICAL DAILY PRACTICES

Iakovleva E.L.

Iakovleva Elena Ludwigovna, Kazan Innovation University named after V.G. Timiryasova, 420111, Kazan, Russia, st. Moscow, 42.
E-mail: mifoigra@mail.ru

The object of the study was the daily gastronomic practices of the individual and the phenomenon of food, in the analysis of which elements of frontier character were found. Consuming food as an indispensable physiological need and taking care of oneself in the being of personality is associated with the constant development of the undeveloped, bringing the Other into its space. In this case, the person, through daily eating, the transition from hunger to saturation through food, constantly opens up the horizons of the new, thereby expanding his spaces and capturing the Other, becoming his own, appropriated. This circumstance is facilitated by the repeated unrepeatability / unrepeatable repeatability of any dish, the taste of which turns out to be different each time, the sense of novelty of gastronomic experience stimulated by the consumer society and the desire to taste, the status pathos of gastronomic practices and the development of gastronomic tourism. Moreover, the desire to taste dishes is connected with the mystical component of the cuisine: despite the fixed prescription, however, never the same dish has a repeating taste. As a result of the above, the gastronomic experience of a person is an infinitely expanding space that shapes the taste and gives birth to the desire to eat, and therefore - to capture and bring new things into your world, constantly comprehending it.

Keywords: everyday practices, food, gastronomic culture, frontier, Other, hunger, taste range.

References

- Veblen, T. (1984). *The theory of an idle class*. M: Progress.
- Grimaud de la Rénier, A. (2014). *Gourmet almanac*. M.: UFO.
- Mahmutov, H.Sh. (2017). Tatar folk art: in 15 tons. Vol. 6: *Proverbs and sayings* / Comp. H.S. Makhmutov. Kazan: Tatar book publishing house.
- Pigrov, K.S. (2003). *Philosophy in sensory spaces* (C.147-158). St. Petersburg: St. Petersburg Philosophical Society.
- Adiatullin, F.Z. (2011). *A real Tatar cuisine. History of the people and its cuisine. Recipes of national dishes*. SPb.: Dilya.
- Ibragimova, F. (2017). *Master of Cooking: a gift for ladies*. Kazan: Cognition.

**HISTORICAL GRAND NARRATIVES OF THE SEVEN KINGDOMS OF
WESTEROS: FROM INVENTION TO DECONSTRUCTION OF A
TRADITIONAL MEDIEVAL HISTORIOGRAPHY**

Kyrchanoff M.W.

Kyrchanoff Maksim W. Voronezh State University,
Voronezh, Russia, 394000, Pushkinskaia 16
e-mail: maksymkyrchanoff@gmail.com

The article is focused on the problems of medieval images in modern mass culture in the contexts of simulation and imitation of grand historical narratives. The author analyses the text of "The World of Ice and Fire: the Untold History of the Westeros and the Game of Thrones" in the contexts of historical and political imaginations and the inventions of alternative identities. The author believes that medievalism lost its academic isolation because modern mass culture uses various images of the Middle Ages actively. Representatives and creators of mass culture use the achievements of academic medieval studies. The imagined universe of George Martin has real medieval prototypes. The author of the article, on the one hand, analyses the historical narratives of "The World of Ice and Fire: the Untold History of Westeros and the Game of Thrones" as an attempt to form historical and political memories. On the other hand, the problems of the features and type of Westeros feudalism are also analysed in this article.

Keywords: George Martin, Westeros, Seven Kingdoms, historical imagination, narratives, feudalism, political rituals

Introductory remarks. The destinies of history in the 20th century were unenviable because politicization, ideologization and mythologization victimized academic science repeatedly. History fell victim to nationalist speculations and manipulations. Authoritarian political regimes, right and left, despite their ideological and doctrinal contradictions, were united in their pathological aspirations and desires to subordinate history, unify it, integrate it into official political and ideological canons, use it to mobilize the masses and legitimize undemocratic political experience. History in the 20th century lost the status of science gradually and turned into an instrument of political struggle and ideological confrontations. History in the 20th century became a victim not only of politicians who sought to use it and used it really to achieve political goals. History in the last decades of the 20th century and at the beginning of the 21 centuries became one more victim of mass culture. Orientalism probably became the first victim of the expansion of mass culture and its attempts to challenge the status of academic sciences because oriental plots and motifs became one of the central themes and plots of mass culture. The image of the Middle Ages, as Russian historian Pavel Uvarov believes, "is a very interesting thing"

(Uvarov, 2016). Therefore, the expansion of mass culture into the sphere of academic medieval studies and its primitivization, simulation and imitation actually became inevitable. Medievalism (Alexander, 2007) became the second victim of a mass culture in its attempts to use history in the struggle for consumers.

From medieval studies to medievalism, or how the Middle Ages became an element of mass culture. The Russian historian Evgenii Savitskii, summing up the results of theoretical discussions, debates and reflections, believes that medievalism develops as

images of the Middle Ages, scientific and popular, existing in the modern times, as well as institutions engaged in their production or their use, including literature, cinema, computer games, sports, health (images of diseases), fast food restaurants, etc (Savitskiy, 2015).

Medievalism is close to formal imitations of the Middle Ages and it occupies new areas of modernity, including consumption and the Internet (Panfilov, 2016), but

the new movies are products of a completely different era and another society... and attempts to find the features of the Middle Ages in the unpleasant aspects of modern life are some typical examples of the perception of the Middle Ages (Panfilov, 2014).

Russian intellectuals, including Aleksandr Filiushkin, state the existence of a public request for medieval stories (Filyushkin, 2017). Therefore, “the expectation of a new Middle Ages”, as Russian critic Evgenii Pozhidaev argues, became “the usual entertainment of Russian intellectuals since Nikolai Berdiaev” (Pojidaev, 2011). Several factors stimulated this sad fall of medievalism, the erosion of its academic purity, the mutation from the academic historiography to the structural element of the culture of mass consumerism and transformation into one of the numerous fields of modern pop culture and culture of mass consumption. Romantic writers of the 19th century did a lot for the idealization and mythologization of the Middle Ages, imagining them as the golden age of knights and beautiful ladies. Fantasy in the 20th century did the same with medievalism with the difference that romantics imagined the relatively real and historical Middle Ages as an ideal world, the authors of the fantasy texts were virtually free and the fetters of real medieval history did not limit their imagination. The literature of the fantasy genre in the 20th century gave birth to a new kind of medievalism that became an alternative to the academic historiography of the Middle Ages (Bloch, 2014),

stimulating and provoking progress and the triumph of visualized medievalism for mass consumption.

The newly invented Middle Ages: textual and visual. George Martin's fantasy project became one of the most successful and notable projects of new non-academic Mediaevalism that defines the main vectors and trajectories of the transformations of the medieval heritage in the contexts of mass culture. In 1897 Cambridge University Press published the book of the English historian of law Frederic William Maitland "Domesday Book and Beyond" (Maitland, 1897). The concept of beyond (Rijkovski, 2009) became one of the central in intellectual history and archaeology of knowledge gradually. It is extremely difficult to determine what "beyond" is, but the author presumes that various intellectual practices and strategies, attempts to form heterogeneous identities, features of imagination and invention, tactics and strategies of actualization and silence form those cultural and intellectual environments and spaces that can be defined as "beyond". The literary project inspired by George Martin became so successful because the writer's texts about the Seven Kingdoms of Westeros had their own unique "beyond" and did not become a primitive imitation and stylization, the integration of medieval themes and motifs into heterogeneous contexts and spaces of the contemporary culture of mass consumerism. If we assume that "beyond" of modern mass literature consists of market laws and the desire of authors, publishers and literary agents to get their profit percentage, then "beyond" of George Martin's prose provides for various motivations, including commercial and intellectual ones. Medievalism made "story with medieval or medieval-like settings, locales and societies" (Jakovljevic & Loncar-Vujnovic, 2016, pp. 97-116) an inevitable characteristic of modern mass literature. Several factors inspired the successful promotion of George Martin's ideas in the symbolic markets of exchanges and communications of modern consumer society. Firstly, George Martin belongs to those authors of mass and formally "low" literature who have certain literary skills and even talents. Secondly, the literary texts of George Martin cannot be defined as pure and classical fantasy because their author is relatively well-oriented in the real history of the Western European Middle Ages and his texts are filled with historical motifs and allusions, and these dimensions of George Martin's narrative are easily readable for professional historians. Thirdly, the screen version of George Martin's texts dragged on for several seasons (Panfilov, 2014, pp. 193-208) and promoted the rise of their popularity and successes simultaneously, stimulating the genesis and development of a particular subculture. This subculture became a component of the wider context of mass culture. Some critics (Rudoy, 2015) presume that George Martin's

texts became the raw material for several television projects that integrate medieval images into the worlds and spaces of modernity. The success of the project stimulates its commentators and critics to express different viewpoints. The range of opinions is varied from cultural to Marxist. The authors of the project assumed that its audience would be wide enough and they were right in this context because mass culture trained several generations of potential viewers and consumers. Successful promotion of the project required new texts, which complemented the prose of George Martin. Therefore, the author himself and several fans of his texts initiated a project of history writing of the imagined worlds, which appear in the prose of an American writer. These activities led to the emergence of a new “historical” narrative, which in fact was an attempt to transplant, imitate and simulate the tactics and strategies of medieval history writing into the contexts and spaces of modern mass culture.

Aims and objectives of the article. The author will try to analyse these imitations and simulations of the historical narrative in this article. This article has several tasks, including an analysis of the genesis of the imitational historical narratives of George Martin’s universe, the study of the features of the historical and political imagination of the invented worlds, the analysis of the forms and features of transplantation of historical knowledge and collective narratives in pseudo-historical sources of the world of the Seven Kingdoms, an attempt to analyse political, social, economic and cultural institutions mentioned in the historical grand narrative of the imagined universe of Westeros.

Methodology. Methodologically, this text is based on ideas and approaches proposed in intellectual history, the history of ideas and intellectual archaeology. The author of the article, on the one hand, believes that it is necessary to use both classical and modern interdisciplinary approaches to medieval studies. On the other hand, the methods proposed for the analysis of nationalism, including the ideas of Benedict Anderson and Eric Hobsbawm, presented in their classic texts “Imagined Communities” (Anderson, 1983) and “Invention of Traditions” (Hobsbawm & Ranger, 1983) are applicable to the analysis of the imitation of historical narratives also because George Martin’s prose and his texts inspired active use the resources of imagination and invention because world of George Martin is one of the most successful invented ones (Ekman & Taylor, 2016, pp. 7-18) and a classic example of their imagination and construction.

Historiography. The imagined worlds of George Martin, which imitate the processes and institutions of the Middle Ages, were able to become the object of academic analysis in Western historiography (Larrington, 2016) (Pavlac, 2017) (Johnston & Battis, 2015) (Attewell, 2014) (Mondschein, 2017) (Perpinya, 2016) (Young, 2015) (Carroll, 2017), but the number of academic texts focused on the analysis of social, economic, political and cultural histories of Westeros remains extremely insignificant. If we erase the phrase of Pavel Uvarov that “the historiographical happy end was not very convincing” (Uvarov, 2000) from the context then it will illustrate the situation with the studies of fiction in the medieval studies fairly. Most of the texts are written and published in English in international journals and the assertion that the prose of George Martin, on the one hand, inspired by the images of the European Middle Ages, became a commonplace (Carroll, 2015) (Young, 2015) (Marques, 2016). Umberto Eco, an Italian writer and historian, in the 1980s proclaimed that “We are dreaming the Middle Ages” (1986, p. 64) and this statement inspired several waves of non-academic manipulations and speculations that entered the “Middle Ages” and “feudalism” into a number of the central collective imagined and invented heroes of modern fantasy. On the other hand, the narrative of the American writer differs significantly from earlier attempts to map feudalism in the modern fantasy genre because the images suggested by George Martin are both artistic, but they are much closer to the imagined and invented Middle Ages than, for example, the prose of Ursula Le Guin, which became part of the classical canon. Russian historian Pavel Uvarov presumes that

now there is no single or at least prevailing way of history writing. But at the same time, ‘practising historians’ still do not doubt that it should be written with use of sources (Uvarov, 2004)

but in this article, the author uses special sources. These sources can change the vectors of historical studies and expand their horizons significantly, especially in the case of social history. The process of renewal of social history, as Paul Uvarov believes, “is necessary and inevitable, but its success is not guaranteed automatically” (Uvarov, 2011). George Martin’s texts that actualize the images of the invented Middle Ages found their admirers and first historians in Western historiography because its methodological and theoretical backgrounds are radically different from Russian ones. The Russian historian Evgenii Savitskii, commenting on this historiographic situation, presumes that

American professional historians, philologists, and art historians produce books that would outrage the researcher who was brought up in respect of the principle

of historicism. These texts are little known in Russia because they look strange and do not correspond to academic criteria, which are still reproduced in Russian universities (Savitskiy, 2016).

The dominance of historiographic culture that is a qualitatively and meaningfully different from Russian one, turned George Martin's prose into a source, although the writer offers idealized Middle Ages. Despite this, Western intellectuals and the few historians in Russia, including the author of this article (Kyrchanoff, 2017), use them as an excuse for postmodern and constructivist speculations and reflections. Russian medievalists, unfortunately, prefer to ignore the interdisciplinary potential and perspectives of the academic analysis of the imagined and invented alternative Middle Ages. Attempts of philologists who specialize in the analysis of fantasy and modern mass culture and literature are also not effective. Therefore, the author, on the one hand, is forced to note with regret that there is a cultural vacuum in studies of George Martin's imagined worlds in contemporary Russian intellectual history. On the other hand, the author hopes that possible studies of non-existent medieval and alternative feudal worlds and land spaces will promote the rise of the popularity of social history (Uvarov, 2010) which in the last two decades began to give up its positions in competition with constructivist approaches.

The Middle Ages and feudalism: what exactly, which one? It is very debatable to answer the question what feudalism exactly existed in Westeros? This question automatically involves a few more ones: did the imagined author of the history of the Seven Kingdoms live in the mature or late Middle Ages? These issues are partly questionable, partly controversial in the contexts of attempts by some intellectuals to prove that the world imagined by George Martin became not a world where traditional feudal relations and natural agrarian economies dominated, but the world that came close to the threshold of a new era, the era of early modernity. Some intellectuals (Efimov, 2017) believe that the feudal world of the Seven Kingdoms, imagined and described by the American writer in the smallest details, exists as a world where the old feudal order, relations and institutions are gradually dying out because they cannot compete with new alternative models of political, social and economic behaviour successfully and effectively. Our hypothetical recognition of the crisis of feudalism in Westeros, emphasizes the urgency of our attempts to answer questions about the nature and type of local feudal relations. What type of feudalism in general and feudal relations and institutions in particular did exist in the Seven Kingdoms? Was feudalism a universal and inevitable

type of organization of social, economic and political relations? Were the Seven Kingdoms the only and unique preserve of feudalism or other variations of the feudal development existed in the imagined world of George Martin outside of Westeros? These questions are not interesting to fans of the texts of the American writer, but academic historians and other intellectuals tried to answer these debatable questions. George Martin's texts can cause disappointment to orthodox and true believing social and economic historians because his books cannot provide them with information about the real size of estates, the relationship of the domain with other territories, the terms of service, the number of dues, corvee, the pace of commuting rents. The absolute predominance of the rural population makes it possible to define the type of economic and social relations of the Seven Kingdoms as feudal. Dependence of the inhabitants of the Seven Kingdoms was naturally felt and understood by them so strongly that the image of the world they lived in and they created for themselves included many features that actualized their inability to separate themselves from the natural environment and the class restrictions of those political and economic institutions that dominated in their world. Paul Mason, an English critic, publicist and political commentator, believes that the Seven Kingdoms exist in the world of the Middle Ages of the late feudalism, arguing that

the elite are in trouble, their sources of wealth exhausted, their civilisation assailed by crazed fanatics from without – while, within, the masses are in open revolt. No, it's not the eurozone – it is Westeros, the mythical venue for Game of Thrones.... But why do so many of these secondary worlds resemble feudalism in crisis?... In modern fantasy fiction there is always a crisis of the system: both of the economic order and of the auras of power... But there is also more clearly systemic doom hanging over the economy of Westeros... If you apply historical materialism to Westeros, the plot of season five and six becomes possible to predict. What happened with feudalism, when kings found themselves in hock to bankers, is that – at first – they tried to sort it out with naked power. The real-life Edward III had his Italian bankers locked up in the Tower of London until they waived his debts... Feudalism gave way to a capitalism based on merchants, bankers, colonial plunder and the slave trade. Paper money emerged, as did a complex banking system for assuaging problems like your gold mine running dry (Mason, 2015).

The Middle Age of Westeros in this historical situation is the era of decline and fall of feudal relations. Feudalism of the Seven Kingdoms is no longer stable and not developed feudalism, but the late feudalism, where social, economic and political institutions fallen into a state of protracted crisis and cannot compete with new more successful and rational economic and political competitors. The trajectories of social, political and economic history of the West in the 16th century, on the one hand, led to the fact that

new rationally thinking first generations of representatives of the bourgeoisie became more successful in their historical conflict and confrontation with old feudal elites who could not adapt to new market rules and relationships successfully and effectively. On the other hand, these transformations became possible because political elites for several centuries or even decades earlier could limit the power of the king power, but the social world of the Seven Kingdoms did not know such social transformations and in fact late economic feudalism existed in conditions of domination of political feudalism that did not know political competition and alternatives. The world imagined by George Martin, on the one hand, is unstable politically, and the dominant political groups are also not stable because they are in a state of constant competition with other representatives of social group they belonged to. On the other hand, the feudal war, George Martin wrote about, may inspire factors that will stimulate the genesis and the emergence of social and economic changes. Mass death of representatives of feudal elites in the civil war will free significant number of their peasants from their feudal lords. In fact, feudal lords who survive will be forced to seek new forms of relations with dependent peasants. The situation, George Martin constructs in a cycle of his novels, has much in common with the conditions that existed in England after the “black death” and became an incentive for the erosion of feudal relations and the genesis of capitalism. The imagined feudalism of the Seven Kingdoms in these intellectual, social and economic contexts is the feudalism of the sunset period and feudalism on the eve of the fall. As for the other two issues, including “Was feudalism a universal and inevitable type of organization of social, economic and political relations?” and “Were the Seven Kingdoms the only and unique preserve of feudalism or other variations of feudal development did exist in George Martin’s imagined world outside Westeros?”, absolutely different answers are possible. Aron Gurevich, a Soviet and Russian medievalist, analyzing the difficulties in determining feudalism wrote:

I tend to see Western European phenomenon in feudalism predominantly, if not exclusively. In my opinion, feudalism developed as a result of a unique constellation of development trends. The feudal system is not a phase of a world-historical process, it arose as a result of a combination of specific conditions emerged as the result of the collision between the barbaric world and the Mediterranean world of the late Antiquity. This conflict gave impetus to the synthesis of the German and Roman origins, and gave birth to conditions for the emergence of Western European civilization at the end of the Middle Ages beyond the traditional social order, beyond the limits in which all other civilizations remained (Haritonovich, 2000).

This remark of Aron Gurevich is quite applicable to the analysis of hypothetical trajectories and developments tendencies of those regions that were not part of the Seven Kingdoms geographically and were located outside of Westeros. Paraphrasing Aron Gurevich's words, it is logical to ask "Was feudalism the only phenomenon that existed exclusively in the Seven Kingdoms of Westeros?". The specific content of the answers will depend on our perceptions and understandings what feudalism is in general? If we perceive feudalism in a Marxist spirit and we insist orthodoxy that feudalism is a social and economic formation between slavery and capitalism, then we can automatically identify other regions of George Martin's world of as feudal. If we assume that the society of the Seven Kingdoms is feudal, then it is logical to assume that this is Western feudalism in our understanding. Creators of fantasy worlds, including George Martin, are extremely uncertain outside the Western Middle Ages and therefore avoid to stylize and imitate peripheral European feudalisms, including Byzantine and Slavic ones. Sergei Ivanov, a Russian Byzantinist, commenting on these intellectual preferences, believes that

the world of fantasy is always the world of the Middle Ages, but the Middle Ages are just western. The "Game of Thrones" is Roman-Germanic Middle Ages. In fantasy there is no place for stylization in Byzantium, Byzantium fell into an image hole (Ivanov, 2015).

Soviet historians, recognizing the existence of feudal relations and institutions, projected these explanations into the history of Oriental societies and imagined the different types and forms of Chinese, Japanese or any other feudalisms. If we use this methodology based on the assumption that feudalism was universal, but developed as different and heterogeneous in social, political and economic contexts, the Free Cities, including Lorath, Norvos, Qohor, Pentos, Volantis, Braavos, and others regions including Yi Ti and Asshai-by-the-Shadow can be imagined as feudal. If a historian or anthropologist who analyses the imagined worlds of George Martin wants to feel like an orthodox Marxist, he or she can imagine and invent feudal relations even among Dothraki. It is normal for post-post-modern historiographical situation and intellectuals who have Soviet historians as their predecessors to find feudal relations in Dothraki society. Soviet intellectuals proposed the theory of nomadic feudalism, ignoring the social and economic realities of Mongolian society. Therefore, the concept of feudalism can be used for explanation of any society in George Martin's universe because it will allow modern intellectuals to imagine feudalism in all regions of the world of George Martin, although

academic ethics can stop some of them and they will limit themselves to the mental feudalization of the Seven Kingdoms only.

Periodization and the invention of progress. The historical grand narrative in its imagined forms in the world of the Seven Kingdoms differed from the real trajectories of the development of historical knowledge and collective ideas of the past significantly. The imagined author of the official history of the Seven Kingdoms lived in a relatively successful era for knowledge and those who can be called medieval intellectuals. In comparison with earlier epochs

the written word begins to play a completely different role than in the previous era. Elites (first of all they were a real and potential audience of various historical works) begin to form their memory on other backgrounds, they have written, recorded memory. They start to use texts more than oral tradition (Sidorov, 2017).

The official history of Westeros in this context can be defined as an attempt to invent and fix historical and political memory. The imagined author of the official history of the Seven Kingdoms did not know what a religiously centric consciousness was and therefore the history in his understanding did not have strict and rigid bindings and connections with religious transformations and changes. Therefore, the imagined author of the historical chronicle allowed himself reasoning about the age of the world and his estimates ranged from 40 to 500 thousand years. The periodization of the history of the Seven Kingdoms' world in its official version is, on the one hand, linear. The linear character of grand historical narrative became the result of the absence of a religiously centric picture of the world that provides intellectuals with the imagined division of history into "before" and "after". On the other hand, the imagined author of the history of the Seven Kingdoms acted in traditional medieval cultural contexts and imagined his "linear time" as torn apart. The timeline of the world of the Seven Kingdoms, unlike real history, is based on the classification of events in their chronological order and sequence. The imagined author understood clearly the differences between ancient history and its modernity (although his modernity from the viewpoint of the modern intellectual is the past because it is Middle Ages), preferring to divide the history into several stages, including periods of "the Dawn Age", "the Coming of the First Men", "the Age of Heroes", "the Long Night", "the Rise of Valyria", "Valyria's Children", "the Arrival of the Andals", "Ten Thousand Ships", "the Doom of Valyria". Several parallels between these imagined stages of invented history and real epochs in the history of terrestrial civilization are possible and plausible. "The Dawn

Age” and “the Coming of the First Men” played in the historical worldview of the imagined author roles that were the same to the pre-history. “The Rise of Valyria” and “Valyria's Children” are Antiquity and its Byzantine relapses. “The Arrival of the Andals”, “Ten Thousand Ships”, “the Doom of Valyria” are analogous to the fall of the Roman Empire and the Migration Period in the history of Western Europe. Aegon Targaryen and his aggressive policy have the conquest of England by Wilhelm in 1066 by their historical prototypes (Martin, Antonsson, & Garcia, 2014, pp. 73-75). The subsequent stages of the Targaryen Kings have some parallels with the history of the European Middle Ages. The imagined author in his attempt to write the history of the known world believed that this history was a history of a gradual complication of culture and social institutions and relationships. Imagining the world as a world of gradual complication, development and actually progress, the imagined author of the history of the Seven Kingdoms perceived it as a heterogeneous world. The historical imagined grand narrative of Westeros in this intellectual situation actualizes its constructivist character, because the real authors of the text actually imitated the style of the medieval chronicle, synthesized it with modern simplistic historical representations. The author of the official history of Westeros in this context, on the one hand, believes that

the eastern lands were awash with many peoples – uncivilized, as all the world was uncivilized but numerous. But on Westeros, from the Lands of Always Winter to the shores of the Summer Sea, only two peoples existed: the children of the forest and the race of creatures known as the giants (2014, p. 19)

and offers, on the other hand, more progressive viewpoints than his real colleagues, who wrote medieval Western chronicles, because progress and development were the main criteria that reflected the level of development of peoples and states, he wrote about. For example, the historical grand narratives of Westeros fix the simultaneous coexistence of several biological species of people, which indicates that its imagined author was familiar with early versions of the local theory of evolution or came close to its discovery.

Political rituals and symbolic communications. It is very tempting and probably appropriate to define the society, social and economic and institutions and relationships that the imagined author of history fixed as feudal but real creators of this text, including George Martin and his co-authors, are aware of the history of the medieval West and transplanted some processes and institutions from the real history of

the European Middle Ages into imagined historical contexts of Westeros. Just as

the West, concealed from the Great Steppe, could afford the luxury of feudalism (Mehanik, 2011)

Westeros separated from its competitors geographically existed in the feudal system of social and economic coordinates. Despite the fact that the history of the Seven Kingdoms is nothing more than an imagined and imagining construct, George Martin, in his cycle of novels, was able

to create one of the most convincing neo-medieval worlds. If Dumas used the history as a nail for the painting, then Martin mixes the colours on the basis of history (Panfilov, 2014).

The history of Westeros is mainly the history of relations between regional dynasties of local feudal lords. Westeros, as a feudal society, belonged to the number of agrarian communities and the levels of urbanization in these regions were significantly lower in comparison with other lands of the world imagined by George Martin. Climatic and natural factors (Tarly, 2017, pp. 1-9) determined the vectors of social and economic development partially, promoting feudalization of society, actualizing the natural character of its agrarian economy and minimizing the role of the eradication processes. The cities in the world of the Seven Kingdoms were formal and nominal political and military centres because peripheral and deep regions were the basis of the economic stability of this agrarian society despite the fact that the natural and climatic conditions did not favour the progress in agriculture. The imagined author of the history of the Seven Kingdoms records some political rituals and ceremonies that formed the basis of the official ceremonial and political mythology of the Seven Kingdoms. The coronation was among the most important political rituals in symbolic communication between representatives of the elites of the Seven Kingdoms. Coronation as “one of the variants of the rites of passage” (Boytssov, 2014) was an extremely important act for the political clan of Targaryens because the kings who belonged to this dynasty sought to legitimize the seizure of the Seven Kingdoms but it was extremely difficult to do without invented political traditions and rituals, including rituals of the coronation. These imagined institutions and relations in forms they emerged and developed in the Seven Kingdoms managed to become the object of research in Western historiography (Riggs, 2017) (Attali, 2017) (Clasby, 2017) (Polack, 2017) (Muhlberger, 2017) (Pavlac, 2017) (Cowlshaw, 2015). The coronation was among the central political rituals and the author of the history of Westeros described it in the following way:

Three days later, in the Starry Sept, His High Holiness himself anointed Aegon with the seven oils, placed a crown upon his head, and proclaimed him Aegon of House Targaryen, the First of His Name, King of the Andals, the Rhoynar, and the First Men, Lord of the Seven Kingdoms, and Protector of the Realm. ("Seven Kingdoms" was the style used, though Dorne had not submitted. Nor would it, for more than a century to come) (Martin, Antonsson, & Garcia, 2014, p. 79).

Mihail Boitsov, the Russian historian, believes that

political rituals rallied the political community, especially when people with power gathered together (Boytssov, 2014).

The desire to actualize and emphasize the continuity of the statehood of Aegon Targaryen with earlier states attests, on the one hand, to the considerable political ambitions of the dynasty, which sought to integrate legends and rudimentary political memories of the historical states that preceded the Seven Kingdoms into its collective political myth. Despite the fact that Aegon Targaryen had nothing in common with the Andals, the Rhoynar, and the First Men, he sought to integrate them into an imagined political body, but these attempts were radically different in comparison with modern tactics and strategies of national construction and nationalistic imagination. Political ceremonies and rituals of Targaryens became an attempt to institutionalize relationships of dependence in the form of patronage, suzerainty and vassalage because the loyalty was regionalised and localised. These regional loyalties were more important for political elites than ethnic, linguistic and religious identities of the local population because these political categories and ideal constructs were unknown in the feudal era, the imagined author of the official history of the Seven Kingdoms wrote about.

The author of this official historical narrative of Westeros mentions facts of the multiple coronations of Aegon Targaryen, who was crowned twice. The first coronation became an actual claim to the acquisition of political power, and the second one was an attempt to legitimize the conquest, seizure and usurpation of power in the Seven Kingdoms. The constant travels of Aegon Targaryen over the conquered lands and territories of Seven Kingdoms became one more political ritual which in fact was an attempt to unite the disparate parts of the new state and form a myth about the unified state political body and promote the image of the king as its supreme suzerain, but these trips did not stimulate political integration because the king did not dare to change radically regional and even local political institutions and rules and norms of law:

rather than attempting to unify the realm under one set of laws, he respected the differing customs of each region and sought to judge as their past kings might have (Martin, Antonsson, & Garcia, 2014, p. 87).

The king could ascribe himself the role of a supreme judge only, although decisions were made according to local norms and customs. Feudalism in the Seven Kingdoms existed as a heterogeneous world of sacred gestures and symbolic communications that actually had a political character. Westeros feudalism was a world where the oral tradition dominated, despite attempts to document historical and political experience in written form, the role of the recorded word was low in comparison with those spheres where oral culture, customs and traditions prevailed and dominated. The number of opponents of royal power, as the imagined author of the history of the Seven Kingdoms wrote, was significant and included representatives of the feudal aristocracy and nobility, as well as religious groups, including the High Septon and various religious orders, such as Poor Fellows. Religion in the world of the Seven Kingdoms played a role that was no less significant than in the history of the real western Middle Ages with the only difference that the religious situation in the invented world of George Martin was more heterogeneous (Tucker, 2017) (Wittingslow, 2015) (Johnston & Battis, 2015) (Ramon Ruiz, 2016).

The official history of the Seven Kingdoms mentions numerous facts of mutual violence of both royalists and their religious opponents, which culminated in the formal victory of the king, who actually institutionalized a compromise between the monarch and his religious enemies. The victory of the king in a confrontation with religious opponents of power did not mean a radical of the monarch's power, because he was forced to rule, taking into account the opinions of the leaders of the feudal aristocracy. In fact, the institutional compromise between the king and the feudal houses that controlled the territories of the formally united Seven Kingdoms expressed in the appearance of a post of Lord Protector of the Realm and Hand of the King (Martin, Antonsson, & Garcia, 2014, p. 103), who was advisor and mediator in the relationship of the ruling king with political and religious elites. The imagined author of the official history of the Seven Kingdoms recognizes that King Jaehaerys I tried to break this institutional compromise between the royal power and the feudal elites because he appointed Septon Barth as Hand of the King despite the fact that he was "no man of humble birth" (2014, p. 104). The violation of the compromise between the royal power and the regional elites of the former Seven Kingdoms provided the king with the opportunity to unify the political spaces and make the imagining political body of the state more visible because

where his grandsire, King Aegon, had left the laws of the Seven Kingdoms to the vagaries of local tradition and custom, Jaehaerys created the first unified code, so that from the North to the Dornish Marches, the realm shared a single rule of law (2014, p. 104).

The imagined author of the official history of the Seven Kingdoms believes that Jaehaerys I sought to change the relationships of power with religious groups and elites because the orders became influential economic actors. King Jaehaerys I was interested in a compromise with secular regional feudal elites because

the Poor Fellows and Warrior's Sons, no longer hunted as they had been in Maegor's day, were much reduced and officially outlawed thanks to Maegor, but they were still present. And still restless, in their eagerness to restore their orders. More pressingly, the Faith's traditional right to judge its own had begun to prove troublesome, and many lords complained of unscrupulous septries and septons making free with the wealth and property of their neighbours and those they preached to (2014, p. 105).

The origins of this conflict were predominantly economic because the interests of religious orders and septons did not coincide with the interests of secular feudal lords. The imagined author of the official history of the Seven Kingdoms, on the one hand, believes that the royal power and religious elites could reach an agreement and institutionalize a compromise between secular and religious authorities:

Jaehaerys instead dispatched Septon Barth to Oldtown, to speak with the High Septon, and there they began to forge a lasting agreement. In return for the last few Stars and Swords putting down their weapons, and for agreeing to accept outside justice, the High Septon received King Jaehaerys's sworn oath that the Iron Throne would always protect and defend the Faith (2014, p. 106).

On the other hand, the history of the Seven Kingdoms records attempts of institutional restraint of royal power, but they were in fact temporary and unsuccessful because council of seven (2014, p. 141), mentioned by the author of the history of Westeros, was a council of regents and it did not become a permanent political institution, but the author of history recognizes that several groups, including council members and a hand of the king, could simultaneously limit the power of the king Aegon when he was young (2014). The imagined author of the history of the Seven Kingdoms mentions the existence of small council during the reign of Daeron II (2014, p. 170). This factor suggests that the conditions for the restriction of royal power existed during the Regency

period, but feudal groups could not use this opportunity effectively and provide representative institutions with a permanent character, but the official history of the Seven Kingdoms records the case when an uncle of King Daeron became the Hand (2014, p. 147).

The compromise nature of the distribution of power functions among representatives of the political elites of the Seven Kingdoms actualizes the simultaneous coexistence and co-operation of the principles of intra-natal and intra-dynastic suzerainty, despite attempts to affirm the primacy of the first one. The imagined author of the official history of Westeros, despite all attempts by the kings to centralize the state, recognized that these aspirations were not very successful in general and in Dorne in particular. Daeron II, according to the official history of the Seven Kingdoms, was forced to cede Dorne and recognize its rights which were more significant than the same ones of other kingdoms:

the lords of Dorne held significant rights and privileges that the other great houses did not – the right to keep their royal title first among them, but also the autonomy to maintain their own laws, the right to assess and gather the taxes due to the Iron Throne with only irregular oversight from the Red Keep, and other such matters (2014, p. 172).

Probably it does not make sense to state that Daeron II granted such wide rights to the Dorne Kingdom. It is more logical to assume that Dorne has never been under the full control of the Kings of the Iron Throne and the actions of Daeron II, on the one hand, became a recognition and institutionalization of the historical situation. On the other hand, such significant concessions testified that the seven kingdoms were not a centralized and regular state, but they developed as a quasi-federation or even a confederation of seven kingdoms despite the fact that local kings recognized the suzerainty of the Kings of the Iron Throne.

The concept of suzerainty in the world of the Seven Kingdoms was plural. Aegon Targaryen, the first king of this dynasty, could not unite and consolidate the territories of the conquered kingdoms and was in fact forced to recognize the local dynasties as regional social, political and economic institutions. This policy led to the virtual coexistence of the principles of intra-dynastic and intra-generic suzerainty, when the kings of the Targaryens dynasty, as formal seniors among the peers, were forced to coexist and cooperate with representatives of regional dynasties despite Targaryens could be younger or elder than local kings or their relatives. The relations and connections between the Targaryens and the regional kings varied and ranged from forced co-operation to an apparent political confrontation, but all kings had the right to “call the banners” (2014, p. 328), which actualized the heterogeneous relations of suzerainty and

vassalage, dependence and independence among representatives of the ruling class.

Seven Kingdoms: post mortem or in memoria. The imagined history of the Seven Kingdoms is an attempt to unify and fix historical and political narratives, create the first versions of national and historical memory, but it is widely known that collective narratives that form a national or nationalizing history are not stable. It is more logical to assume that such narratives that determine the main vectors of Westeros history writing will inevitably become victims of deconstruction and revision because the world described by the author of this history is in a state of deep crisis and civil war that became harbingers of radical changes and transformations. If we assume that Westeros feudalism is late and dying, then it is logical to assume that in a few decades later the text of history will be imagined as a historical source because this feudal and estate grand narrative will be replaced by nationalizing or national narratives that will form new versions of Westeros history in general and each of the Seven Kingdoms in particular. How can the historical imagination in the Westeros world change after radical economic and political transformations? Firstly, several simultaneously coexisting and competing national historical narratives or nationalized versions of the past will replace a single archaic narrative that dominated in the official history of the Seven Kingdoms. Secondly, these new national histories will be political and ideological constructs, despite the fact that their authors and formers will use a single body of sources including the text analysed in this article. Thirdly, these new versions of history will simultaneously construct and deconstruct historical narratives and facts because their potential authors and their political customers will be interested in mythologization of ancestral past that will differ from the same historical subjects of neighbours. Fourthly, it cannot be ruled out that the feudal conflicts described in George Martin's cycle will be imagined as a symbolic boundary or frontier in mental transition from one historical epoch to another. Fifthly, all these national or nationalized histories will inevitably use the image of Otherness and the concepts of the enemy. It cannot be ruled out that Dorne can be this politically and ideologically motivated Other for the North. Targaryens and Lannisters can become positive or negative collective heroes and their images will depend on political and ideological preferences of authors of new histories. Historians of the modernising Westeros will not be burdened by class stereotypes, but they will be voluntary captives and hostages of the national myths of nations as the imagined communities they will belong to. If Targaryens and Lannisters can become political and ideological Others and antiheroes,

then the history of the feudal civil war, George Martin wrote about, provide historians of future national or nationalizing states with a universal and inevitable Other. Dothraki will become this universal Other who will consolidate the historical imaginations of the national historiographies of the former Seven Kingdoms. Dothraki who after the end of the war may remain in Westeros will stimulate the political and historical imagination of politicians and intellectuals and none of them will be indifferent because Dothraki motives will be permanent incentives for historiographic confrontations and battles for history. It does not matter who will win in the late feudal war in Westeros, but it is also obvious that Dothraki will be among the ethnic and cultural marginalized losers in the world where neighbouring communities will become nations, when Dothraki were doomed to be a political and ethnic minority and a socially oppressed group. Fifthly, the history of the world after the Game of Thrones will become a political commodity and ideological construct simultaneously, and local intellectuals will inevitably actualize the servillist and instrumentalist dimensions of the past. The extreme politicization of historiography, the monopolization of historiographical production and the high degree of politicization of historical debates can be the main factors that will determine vectors and trajectories of the imagination of the history of the Seven Kingdoms in a few decades or some centuries later. The history of the Seven Kingdoms of Westeros will move to the centre of ideological debates and will inevitably be a victim in the hands of political entrepreneurs from the hypothetically possible Society of Valyria Restoration, Society of True Andals, Society for the Praise and Promotion of Merit of Aegon II, Society of glorification of Aerys II... Historians in this world will not be a single community: some of them will analyse the features of genesis and local variations in the development of feudalism, the terms and sizes of duties, rates and features of rent commutation in the contexts of social, cultural or agrarian histories; others will use the history and facts of the past to legitimize political processes, states and institutions actively. Eddard Stark and Robert Baratheon can turn into short-sighted political reactionaries in historical imagination who defended the dying institutions of the feudal estate society, and Tyrion Lannister and Petyr Baelish can be invented and imagined as heralds of a new capitalist era.

Preliminary conclusions. An alternative historical grand narrative which emerged as an attempt to write a universal and synthesis history of imagined worlds and their social and political spaces, invented in George Martin's texts and in their television adaptation did not arise in a vacuum. Russian historian Fiodor Panfilov believes that "a fantastic world where there are not so many fiction and magic" became the consequence of "the

total conversion of the Middle Ages” (Panfilov, 2014). This grand narrative has real historiographic, cultural and intellectual prototypes that stimulated the historical imagination of George Martin and the invention of political, social, economic, cultural and religious institutions that "exist" in the universe of Westeros.

Medieval chronicles were the first incentives for the emergence of alternative imagined medievalism in the texts of the American writer. Later historiographic attempts to interpret and explain medieval texts also stimulated and inspired George Martin in his desires to imagine a synthetic grand narrative of a formally medieval but virtually never existing history writing. Many subjects, including processes, institutions, social and economic relations and even ethnic groups that appear in George Martin's historical grand narrative have real predecessors and prototypes in a history of Europe. Actually, George Martin repeated the historical scheme of periodization and mental division of history into antiquity and the Middle Ages. The various invasions of formally barbaric ethnic groups, on the one hand, in the imagined history of George Martin, as it was in the real history of the West, stimulated radical changes in social and political institutions and relationships, inspired feudalization.

On the other hand, the worlds imagined and invented by George Martin, actualize unrealized alternative scenarios of the real history of the Middle Ages. In George Martin's texts, we deal with protracted and prolonged feudalism burdened by climatic features that slow down the speeds and paces of social and economic changes in the traditional agrarian society significantly. Analysing the imagined medieval worlds of George Martin, we can presume that the social and cultural spaces, the American writer writes about, retained more dimensions of heterogeneity and diversity than the real historical spaces of the European West because the Christianization in the late antiquity and the subsequent conversion of barbarians to Christianity greatly assisted to the unification of the Christian cultural code. The imagined worlds of George Martin, unlike the real and plural European medieval ones, did not know what Christianization was and therefore they could maintain their heterogeneous character.

The actual situation of religious pluralism, the simultaneous coexistence of pagan cults, cultures and identities with attempts of religious unification, influenced the main vectors and trajectories of the historical imagination, the invention of the past and the history writing in the worlds of George Martin. The American writer suggested that cultures without Christianization were able to preserve more knowledge of previous civilizations and historical traditions than unified and religious identity. Therefore, the histories written by imagined and never living chronists of the world of the Seven Kingdoms are more rational than real attempts of

historical description of European medieval authors. The religious situation of heterogeneity and simultaneous coexistence of pagan cults with religions that seek to unify world allowed the "writing" of history of Westeros as an attempt to systematize and generalize the historical facts and various sources. The imagined author of the history of the Seven Kingdoms approached the rational and proto-positive versions of history several centuries earlier than the intellectuals of the real western Middle Ages.

The emergence and success of the history of the Seven Kingdoms, which simulates real historical narratives and imitates a variety of tactics and strategies of history writing. It reaffirms that the history in the age of post-post-modern as other forms of human knowledge is subject to falsification, construction and deconstruction. In fact, George Martin deconstructing motifs and themes of western feudalism history, constructs new historical narratives are inevitably mutate and transform into a grand narrative that imitate the tradition of European history writing. The grand narrative of the history of the Seven Kingdoms has a mixed and partly transitional character, actualizing the elements of several historiographical traditions and forms of historical imagination simultaneously. On the one hand, the official history of Westeros imitates the forms of the traditional European historical worldview, but, on the other hand, these historical narratives became attempts to comprehend and rationalize the historical process.

The mixed nature of the grand narrative in the official history of the Seven Kingdoms actualizes its post-modernist nature of the construct and the invented tradition because the authors of this text imitated the style of academic discourse consciously and intentionally and simulated the traditional and archaic versions of the historical consciousness of the Middle Ages. This text could arise only in the depths of consumption of post-post-modern era, because the authors realized the limitations of traditional forms and modern attempts of history writing and tried to connect the various forms of historical imaginations and offer a grand narrative that satisfy supporters of academic historiography and popular mass literature. The success and triumph of history as fiction, history as the imagination, history as the invention, history as speculation actualizes constructivist character of modern historical knowledge including medievalism.

The constructivist nature of the modern historical consciousness dooms society to develop in a vicious circle of historical imagination, where construction and deconstruction, imagination and inventions became the main forms, tactics and strategies for the formation and dissemination of collective and individual knowledge of the past, including the Middle

Ages. Medievalism repeated the intellectual faith of Orientalism in this cultural situation, because it mutated into several simply recognizable images. Medievalism became a victim of the consumerism and henceforth market logic. Commercial rationality replicates the simplified and primitivized images of the Middle Ages, but despite it, academic medieval studies will exist in the following decades, co-operating with medievalism as a simplified and non-academic version of knowledge. Medievalism of mass consumerism will use the achievements of academic historiography, but academic historians will prefer to ignore it, but as academic Orientalism ignores the forms of mass Hollywood Orientalism, ignorance will become the main tactic and strategy of the academic community instead of peaceful coexistence with the numerous forms of fantasy medievalism.

Declaration of Conflicting Interests. The author declares no potential conflicts of interests with respect to the authorship and/or publication of this article.

Funding. The author received no financial support for the research and/or authorship of this article.

References:

- Alexander, M. (2007). *Medievalism: the Middle Ages in modern England*. New Haven: Yale University Press.
- Anderson, B. (1983). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. NY: Verso.
- Attali, M. (2017). Religious Violence in Game of Thrones: An Historical Background from Antiquity to the European Wars of Religion. In B. A. Pavlac, *Game of Thrones versus History: Written in Blood* (pp. 185-194). NY: Wiley-Blackwell.
- Attewell, S. (2014). *Race for the Iron Throne: Political and Historical Analysis of "A Game of Thrones"*. Blue Buddha Press.
- Bloch, H. (Ed.). (2014). *Rethinking the New Medievalism*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Boytssov, M. (2014). "Ritually - ehto i est vlast". *Intervyu s istorikom Mihailom Bojcovym ob obryade srednevekovoj koronacii praktike pomazaniya i statuse korolevskoj vlasti v Evrope*. Retrieved from <https://postnauka.ru/talks/35978>
- Boytssov, M. (2014). *Koronacii v srednevekovoj Evrope. Istorik Mihail Bojcov o roli inauguracionnyh ritualov istokov tradicii pomazaniya i*

- rabote medievista s istochnikami*. Retrieved from <https://postnauka.ru/video/32882>
- Cantor, N. (1991). *Inventing the Middle Ages: The lives, works and ideas of the great medievalists of the twentieth century*. New York: William Morrow.
- Caroll, S. (2017). *Medievalism in a Song of Ice and Fire and Game of Thrones*. Boydell & Brewer.
- Carroll, S. (2015). Fantasy and Science Fiction Medievalisms: From Isaac Asimov to A Game of Thrones. *Rewriting the Fantasy Archetype: George R. R. Martin, Neomedievalist Fantasy, and the Quest for Realism*, Young, Helen. Amherst: Cambria Press.
- Clasby, D. (2017). Coexistence and Conflict in the Religions of Game of Thrones. In B. A. Pavlac, *Game of Thrones versus History: Written in Blood*. (pp. 195-208). NY: Wiley-Blackwell.
- Cowlshaw, B. (2015). What Maesters Knew: Narrating Knowing. In S. Johnston, & J. Battis (Eds.), *Mastering the Game of Thrones: Essays on George R.R. Martin's A Song of Ice and Fire* (pp. 57-70). NY: McFarland.
- Eco, U. (1986). *Dreaming of the Middle Ages, Travels in Hyperreality*. Orlando: Harcourt.
- Efimov, A. (2017). *Urbanizaciya i drakony*. Retrieved from <https://batenka.ru/aesthetics/cinema/got/>
- Ekman, S., & Taylor, A. I. (2016). Notes Toward a Critical Approach to Worlds and World-Building. *Fafnir: Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research*, 3(3), 7-18.
- Filyushkin, A. (2017). *Kak nam privilech Ivana Vasilevicha Nevskogo Istorik-diagnost noosfera i geroicheskie mify proshlogo Narrativy proshlogo i budushchego Rossii*. Retrieved from <http://gefter.ru/archive/23407>
- Haritonovich, D. (2000). *Sovremennost Srednevekovya*. *Novyj mir*(10), Retrieved from http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2000/10/sovr.html.
- Hobsbawm, E., & Ranger, T. (1983). *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ivanov, S. (2015). *Gumanitarnaya nauka vse pereotkryvaet*. Retrieved from <https://arzamas.academy/materials/191>
- Jakovljevic, M., & Loncar-Vujnovic, M. (2016). Medievalism In Contemporary Fantasy: A New Species Of Romance. *Imago Temporis. Medium Aevum*(10), 97-116.
- Johnston, S., & Battis, J. (Eds.). (2015). *Mastering the Game of Thrones: Essays on George R.R. Martin's A Song of Ice and Fire*. NY: McFarland.

- Kyrchanoff, M. W. (2017). "New wine into old wineskins": the other horizons of frontier studies and performative turn in fantasy between medievalism and traditional poetics. *Journal of Frontier Studies*(4), 81-109.
- Larrington, C. (2016). *Winter is Coming: The Medieval World of Game of Thrones*. NY: I.B.Tauris.
- Maitland, F. W. (1897). *Domesday book and beyond: three essays in the early history of England*. Cambridge University Press,.
- Marques, D. (2016). The Haunted Forest of "A Song of Ice and Fire": a space of otherness. *Fafnir: Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research*, 3(3), 31-40.
- Marsden, R. (2018). Medievalism: New discipline or scholarly norman's land. *History Compass*, 16(1), 1-9.
- Martin, G., Antonsson, L., & Garcia, E. (2014). *The World of Ice & Fire: the Untold History of Westeros and the Game of Thrones*. Bantam: Bantam: Harper Voyager.
- Mason, P. (2015, April 6). Can Marxist theory predict the end of Game of Thrones? *The Guardian*, Retrieved from <https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2015/apr/06/marxist-theory-game-of-thrones-lannisters-bankers-sex-power-feudal-westeros-revolution> .
- Mehanik, A. (2011). Zaverit u Klio Zapadnoj Evrope fantasticheski povezlo s istoriej... schitaet istorik chlen-korrespondent RAN Pavel Uvarov. *Ekspert*(11), Retrieved from <http://expert.ru/expert/2011/11/zaverit-u-klio/>.
- Mondschein, K. (2017). *Game of Thrones and the Medieval Art of War*. McFarland.
- Muhlberger, S. (2017). Chivalry in Westeros. In B. A. Pavlac (Ed.), *Game of Thrones versus History: Written in Blood* (pp. 47-56). NY: Wiley-Blackwell.
- Panfilov, F. (2014, Февраль 11). Rycar kaminного kovrika Igra prestolov i drugie obrazy srednevekovya na ehkrane s tochki zreniya istorika-medievista. *Kolta*, Retrieved from <http://www.colta.ru/articles/media/1997>.
- Panfilov, F. (2014). Telemedievalizm srednevekovye serialy konca XX - nachala XXI veka. *Logos*(6), 193-208.
- Panfilov, F. (2016). Telemedievalizm srednevekovye serialy konca XX - nachala XXI veka. *Neprikosnovennyj zapas*(3), Retrieved from <http://magazines.russ.ru/nz/2016/3/srednevekovye-pesochnicy-medievalizm-v-kompyuternyh-igrah-nacha.html>.
- Pavlac, B. A. (2017). *Game of Thrones versus History: Written in Blood*. NY: Wiley-Blackwell.

- Pavlac, B. A. (2017). Of Kings, Their Battles, and Castles. In B. A. Pavlac (Ed.), *Game of Thrones versus History: Written in Blood* (pp. 57-70). NY: Wiley-Blackwell.
- Perpinya, N. (2016). Ruins, Nostalgia and Ugliness: Five Romantic perceptions of the Middle Ages and a spoonful of Game of Thrones and Avant-garde oddity. *Logos Verlag*.
- Pojidaev, E. (2011). Staroe i novoe srednevekovoe Desyatye gody. *Russkij zhurnal*, Retrieved from <http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Staroe-i-novoe-srednevekov-e>.
- Polack, G. (2017). Setting up Westeros: The Mediaeval World of Game of Thrones. In B. A. Pavlac (Ed.), *Game of Thrones versus History: Written in Blood* (pp. 251-260). NY: Wiley-Blackwell.
- Ramon Ruiz, J. L. (2016). The Favor of the Gods: Religion and Power in George R. R. Martin's A Song of Ice and Fire. *Fafnir: Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research*, 3(3), 41-50.
- Riggs, D. (2017). Continuity and Transformation in the Religions of Westeros and Western Europe. In B. A. Pavlac (Ed.), *Game of Thrones versus History: Written in Blood* (pp. 173-184). NY: Wiley-Blackwell.
- Rijkovskiy, V. (2009). Sovetskaya medievistika i Beyond (k istorii odnoj diskussii). *Novoe literaturnoe obozrenie*(97), Retrived from <http://magazines.russ.ru/nlo/2009/97/ry4-pr.html>.
- Rudoy, A. (2015). "Igra prestolov": istoricheskij materializm seks i smert. *Vestnik buri*, Retrieved from <http://vestnikburi.com/igra-prestolov-istoricheskij-materializm-seks-i-smert/>.
- Savitskiy, E. (2015). Novyj medievalizm chetvert veka spustya. *Novoe literaturnoe obozrenie*(135), 346-354.
- Savitskiy, E. (2016). Preposterous History: anahronicheskoe Srednevekovye na rubezhe XX i XXI vekov. *Sociologiya vlasti*, 28(2).
- Sidorov, A. (2017). *Karolingskoe istoriopisanie Istorik Aleksandr Sidorov o zhanre deyanii politicheskikh aspektah istoriopisaniya i sochineniyah*. Retrieved from <https://postnauka.ru/video/73561>
- Tarly, S. (2017). The Climate of the world of Game of Thrones. *Philosophical Transactions of the Royal Society of King's Landing*, 1(1), 1-9.
- Tucker, K. (2017). Violence, Politics, and Religion: Cosmic War in Game of Thrones. *Fafnir: Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research*, 1(1), 54-66.
- Uvarov, P. (2000). Apokatastazis ili Osnovnoj instinkt istorika. *Kazus Individualnoe i unikalnoe v istorii*(3), 15-32.

- Uvarov, P. (2004). *Istoriya istoriki i istoricheskaya pamyat vo Francii. Otechestvennye zapiski*(5), Retrieved from http://magazines.russ.ru/oz/2004/5/2004_5_17.html.
- Uvarov, P. (2010). *Revansh socialnoj istorii*. Retrieved from <http://polit.ru/article/2010/03/23/history/>
- Uvarov, P. (2011). *CHlen-korrespondent RAN Pavel YUrevich Uvarov rasskazal na seminare IGITI ob osobom meste socialnoj istorii v sovremennoj nauke*. Retrieved from <https://igiti.hse.ru/news/37709881.html>
- Uvarov, P. (2016). *Pryamaya rech Pavel Uvarov Istorik Pavel Uvarov o lyubimyh knigah puti k professii i obraze Srednevekovya*. Retrieved from <https://postnauka.ru/talks/64678>
- Wittingslow, R. M. (2015). "All Men Must Serve": Religion and Free Will from the Seven to the Faceless Men. In J. Battis, & S. Johnston (Eds.), *Mastering the Game of Thrones: Essays on George R. R. Martin's "A Song of Ice and Fire"* (pp. 113-131). NC: McFarland.
- Young, H. (2015). *Fantasy and Science Fiction Medievalisms: From Isaac Asimov to A Game of Thrones*. Cambria Press.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ГРАНД НАРРАТИВЫ СЕМИ КОРОЛЕВСТВ ВЕСТЕРОСА: ОТ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ДЕКОНСТРУКЦИИ ТРАДИЦИОННОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Кирчанов М.В.

Кирчанов Максим В. Воронежский государственный университет
Воронеж, Россия, 394000, Пушкинская 16
e-mail: maksymkyrchanoff@gmail.com

Статья сфокусирована на проблемах средневековых образов в современной массовой культуре в контекстах симуляции и имитации «больших» исторических нарративов. Автор анализирует текст “The World of Ice & Fire: the Untold History of Westeros and the Game of Thrones” в контекстах исторического и политического воображения и изобретения альтернативных идентичностей. Автор полагает, что медиевализм утратил академическую замкнутость, потому что современная массовая культура активно использует различные образы средневековья. Представители и творцы массовой культуры активно используют достижения академической медиевистики. Воображенная вселенная Джорджа Мартина имеет реальные средневековые прототипы. Автор статьи, с одной стороны, анализирует исторические нарративы “The World of Ice & Fire: the Untold History of Westeros and the Game of Thrones” как попытку сформировать историческую и политическую память. С другой стороны, проблемы особенностей и типа феодализма Вестероса также анализируются в этой статье.

Ключевые слова: Джордж Мартин, Вестерос, Семь Королевств, историческое воображение, нарративы, феодализм, политические ритуалы

Список литературы

- Alexander, M. (2007). *Medievalism: the Middle Ages in modern England*. New Haven: Yale University Press.
- Anderson, B. (1983). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. NY: Verso.
- Attali, M. (2017). Religious Violence in Game of Thrones: An Historical Background from Antiquity to the European Wars of Religion. In B. A. Pavlac, *Game of Thrones versus History: Written in Blood* (pp. 185-194). NY: Wiley-Blackwell.
- Attewell, S. (2014). *Race for the Iron Throne: Political and Historical Analysis of "A Game of Thrones"*. Blue Buddha Press.
- Bloch, H. (Ed.). (2014). *Rethinking the New Medievalism*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Бойцов, М. (2014). "Ритуалы - это и есть власт". Интервью с историком Михаилом Бойцовым об обряде средневековой коронации, практике помазания и статусе королевской власти в Европе. Retrieved from <https://postnauka.ru/talks/35978>
- Бойцов, М. (2014). Коронации в средневековой Европе. Историк Михаил Бойцов о роли инаугурационных ритуалов истоков традиции помазания и работе медиевиста с источниками. Retrieved from <https://postnauka.ru/video/32882>
- Cantor, N. (1991). *Inventing the Middle Ages: The lives, works and ideas of the great medievalists of the twentieth century*. New York: William Morrow.
- Caroll, S. (2017). *Medievalism in a Song of Ice and Fire and Game of Thrones*. Boydell & Brewer.
- Carroll, S. (2015). Fantasy and Science Fiction Medievalisms: From Isaac Asimov to A Game of Thrones. *Rewriting the Fantasy Archetype: George R. R. Martin, Neomedievalist Fantasy, and the Quest for Realism*, Young, Helen. Amherst: Cambria Press.
- Clasby, D. (2017). Coexistence and Conflict in the Religions of Game of Thrones. B B. A. Pavlac, *Game of Thrones versus History: Written in Blood*. (стр. 195-208). NY: Wiley-Blackwell.
- Cowlishaw, B. (2015). What Maesters Knew: Narrating Knowing. In S. Johnston, & J. Battis (Eds.), *Mastering the Game of Thrones: Essays on George R.R. Martin's A Song of Ice and Fire* (pp. 57-70). NY: McFarland.

- Есо, U. (1986). *Dreaming of the Middle Ages, Travels in Hyperreality*. Orlando: Harcourt.
- Ефимов, А. (2017). *Урбанизация и драконы*. Retrieved from <https://batenka.ru/aesthetics/cinema/got/>
- Ekman, S., & Taylor, A. I. (2016). Notes Toward a Critical Approach to Worlds and World-Building. *Fafnir: Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research*, 3(3), 7-18.
- Филюшкин, А. (2017). *Как нам привлечь Ивана Васильевича Невского. Историк-диагност, ноосфера и героические мифы прошлого. Нарративы прошлого и будущего России..* Retrieved from <http://gefeter.ru/archive/23407>
- Харитонович, Д. (2000). Современность Средневековья. *Новый мир* (10), Retrieved from http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2000/10/sovr.html.
- Hobsbawm, E., & Ranger, T. (1983). *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Иванов, С. (2015). *Гуманитарная наука всё переоткрывает*. Retrieved from <https://arzamas.academy/materials/191>
- Jakovljevic, M., & Loncar-Vujnovic, M. (2016). Medievalism In Contemporary Fantasy: A New Species Of Romance. *Imago Temporis. Medium Aevum*(10), 97-116.
- Johnston, S., & Battis, J. (Eds.). (2015). *Mastering the Game of Thrones: Essays on George R.R. Martin's A Song of Ice and Fire*. NY: McFarland.
- Kyrchanoff, M. W. (2017). «New wine into old wineskins»: the other horizons of frontier studies and performative turn in fantasy between medievalism and traditional poetics. *Journal of Frontier Studies*(4), 81-109.
- Larrington, C. (2016). *Winter is Coming: The Medieval World of Game of Thrones*. NY: I.B.Tauris.
- Maitland, F. W. (1897). *Domesday book and beyond: three essays in the early history of England*. Cambridge University Press,.
- Marques, D. (2016). The Haunted Forest of “A Song of Ice and Fire”: a space of otherness. *Fafnir: Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research*, 3(3), 31-40.
- Marsden, R. (2018). Medievalism: New discipline or scholarly norman's land. *History Compass*, 16(1), 1-9.
- Martin, G., Antonsson, L., & Garcia, E. (2014). *The World of Ice & Fire: the Untold History of Westeros and the Game of Thrones*. Bantam: Bantam: Harper Voyager.
- Mason, P. (2015, April 6). Can Marxist theory predict the end of Game of Thrones? *The Guardian*, Retrieved from

- <https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2015/apr/06/marxist-theory-game-of-thrones-lannisters-bankers-sex-power-feudal-westeros-revolution> .
- Механик, А. (2011). Заверить у Клио. Западной Европе фантастически повезло с историей... считает историк член-корреспондент РАН Павел Уваров. *Эксперт*(11), Retrieved from <http://expert.ru/expert/2011/11/zaverit-u-klio/>.
- Mondschein, K. (2017). *Game of Thrones and the Medieval Art of War*. McFarland.
- Muhlberger, S. (2017). Chivalry in Westeros. В В. А. Pavlac (Ред.), *Game of Thrones versus History: Written in Blood* (стр. 47-56). NY: Wiley-Blackwell.
- Панфилов, Ф. (2014, Февраль 11). Рыцарь каминного коврика. Игра престолов и другие образы средневековья на экране с точки зрения историка-медиевиста. *Кольта*, Retrieved from <http://www.colta.ru/articles/media/1997>.
- Панфилов, Ф. (2014). Телемедивализм. Средневековые сериалы конца XX – начала XXI вв. *Логос* (6), 193-208.
- Панфилов, Ф. (2016). Телемедивализм. Средневековые сериалы конца XX – начала XXI вв. *Неприкосновенный запас* (3), Retrieved from <http://magazines.russ.ru/nz/2016/3/srednevekovye-pesochnicy-medievalizm-v-kompyuternyh-igrah-nacha.html>.
- Pavlac, B. A. (2017). *Game of Thrones versus History: Written in Blood*. NY: Wiley-Blackwell.
- Pavlac, B. A. (2017). Of Kings, Their Battles, and Castles. В В. А. Pavlac (Ред.), *Game of Thrones versus History: Written in Blood* (стр. 57-70). NY: Wiley-Blackwell.
- Perpinya, N. (2016). Ruins, Nostalgia and Ugliness: Five Romantic perceptions of the Middle Ages and a spoonful of Game of Thrones and Avant-garde oddity. *Logos Verlag*.
- Пожидаев, Е. (2011). Старое и новое средневековье. Десятые годы. *Русский журнал*, Retrieved from <http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Staroe-i-novoe-srednevekov-e>.
- Polack, G. (2017). Setting up Westeros: The Mediaeval World of Game of Thrones. В В. А. Pavlac (Ред.), *Game of Thrones versus History: Written in Blood* (стр. 251-260). NY: Wiley-Blackwell.
- Ramon Ruiz, J. L. (2016). The Favor of the Gods: Religion and Power in George R. R. Martin's A Song of Ice and Fire. *Fafnir: Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research*, 3(3), 41-50.
- Riggs, D. (2017). Continuity and Transformation in the Religions of Westeros and Western Europe. В В. А. Pavlac (Ред.), *Game of*

- Thrones versus History: Written in Blood* (стр. 173-184). NY: Wiley-Blackwell.
- Рыжковский, В. (2009). Советская медиевистика и Beyond (к истории одной дискуссии). *Новое литературное обозрение* (97), Retrieved from <http://magazines.russ.ru/nlo/2009/97/ry4-pr.html>.
- Рудой, А. (2015). «Игра престолов»: исторический материализм. Секс и смерть. *Вестник бури*, Retrieved from <http://vestnikburi.com/igra-prestolov-istoricheskiy-materializm-seks-i-smert/>.
- Савицкий, Е. (2015). Новый медиевализм четверть века спустя. *Новое литературное обозрение* (135), 346-354.
- Савицкий, Е. (2016). Preposterous History: анахроническое Средневековье на рубеже XX и XXI веков. *Социология власти*, 28(2).
- Сидоров, А. (2017). *Каролингское историописание. Историк Александр Сидоров о жанре деянии, политических аспектах историописания и сочинениях*. Получено из <https://postnauka.ru/video/73561>
- Tarly, S. (2017). The Climate of the world of Game of Thrones. *Philosophical Transactions of the Royal Society of King's Landing*, 1(1), 1-9.
- Tucker, K. (2017). Violence, Politics, and Religion: Cosmic War in Game of Thrones. *Fafnir: Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research*, 1(1), 54-66.
- Уваров, П. (2000). Апокатастазис или Основной инстинкт историка. *Казус: Индивидуальное и уникальное в истории* (3), 15-32.
- Уваров, П. (2004). История, историки и историческая память во Франции. *Отечественные записки* (5), Retrieved from http://magazines.russ.ru/oz/2004/5/2004_5_17.html.
- Уваров, П. (2010). *Ревани социальной истории*. Retrieved from <http://polit.ru/article/2010/03/23/history/>
- Уваров, П. (2011). Член-корреспондент РАН Павел Юрьевич Уваров рассказал на примере ИГИТИ об особом месте социальной истории в современной. Retrieved from <https://igiti.hse.ru/news/37709881.html>
- Уваров, П. (2016). Пряма речь. Павел Уваров. Историк Павел Уваров о любимых книгах, пути к профессии и образе Средневековья. Retrieved from <https://postnauka.ru/talks/64678>
- Wittingslow, R. M. (2015). "All Men Must Serve": Religion and Free Will from the Seven to the Faceless Men. In J. Battis, & S. Johnston (Eds.), *Mastering the Game of Thrones: Essays on George R. R. Martin's "A Song of Ice and Fire"* (pp. 113-131). NC: McFarland.

Young, H. (2015). *Fantasy and Science Fiction Medievalisms: From Isaac Asimov to A Game of Thrones*. Cambria Press.

ФАМИЛЬНЫЕ ФРОНТИРЫ: ГЕНДЕРНЫЕ СТРАТЕГИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ РИСКАМ ТРАНСГРАНИЧНОСТИ В ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ МОБИЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСТВА

Толстокурова А.В.

Толстокурова Алиса Валерьевна, канд. филол. наук, доцент, научный эксперт,
Независимый аналитический центр, Киев, Украина
e-mail: alicetol@yahoo.com

Данная статья продолжает цикл работ автора, посвященных проблематизации психо-эмоциональных рисков в трансграничных семейных отношениях родителей-мигрантов с их остающимися дома детьми на примере украинской транснациональной семьи мигрантов. Ее теоретической задачей является дальнейшее развития понятия «эмоциональная культура мобильного родительства», предложенного ранее. Целью работы является выявление гендерно-специфических стратегий, применяемых украинскими трудовыми родителями-мигрантами для сопротивления психо-эмоциональным рискам трансграничных семейных отношений. Работа основана на анализе результатов полевого исследования. В качестве аналитического инструмента для выявления стратегий сопротивления мигрантов используется теория «циркуляции заботы». Выделяется 5 гендерно-специфических стратегий преодоления эмоциональных рисков трансграничности украинскими матерями и отцами-мигрантами. Матери-мигрантки прибегают к следующим стратегиям: «благо детей» как инструмент сопротивления и «интенсификация материнства». Обе стратегии осуществляются в режиме усиления циркуляции заботы. Отцы-мигранты используют такие стратегии сопротивления: стратегия поддержания стабильных эмоциональных связей с семьей в режиме эффективной циркуляции заботы, стратегия компенсации эмоционального дефицита одиноких отцов в режиме усиления циркуляции заботы и стратегия переформатирования эмоциональных связей в режиме снижения или редукции циркуляции заботы.

Ключевые слова: трансграничное родительство, украинская трудовая миграция, трансграничное материнство, трансграничное отцовство, транснациональная семья, эмоциональный капитал, эмоциональные риски, эмоциональная культура мобильного родительства, гендерные стратегии сопротивления.

Введение

В современном мире насчитывается от 220 до 350 млн. человек, живущих за границами тех стран, в которых они родились (Bodley, 2008, р. 2). Многие из этих людей продолжают поддерживать отношения с родными, оставшимися на родине, даже через многие годы после отъезда. Это дает основания утверждать, что в современную эпоху глобализации формируется «новая социо-культурная парадигма семейных отношений» (Толстокурова 2017а,

стр. 278), осуществляемых в трансграничном формате и обусловленных высокой географической мобильностью населения, а также появлением высоких транспортных и информационных технологий. Эта парадигма базируется на усилиях членов семей мигрантов, направленных на воссоздание целостности и синергии транснационального семейного пространства, фрагментированного посредством государственных границ.

Открытие государственных границ после распада СССР, либерализация визового режима и возникновение границ внутри ранее единого советского пространства также создали условия для возникновения межличностных и родственных отношений, осуществляемых постсоветским населением в трансграничном режиме, вызвав появление дистантных моделей семейных отношений и практик, пересекающих границы.

В постсоветской Украине¹, как одной из крупнейших в мире стран-доноров трудовой миграции², за годы рыночных трансформаций сформировалась новая модель семейных отношений – транснациональная семья мигрантов (далее ТС), обусловленная массовым оттоком украинцев на заработки за рубеж. Она основана на новейших формах родственных уз и практик родительства, осуществляемых в условиях больших географических расстояний и в трансграничном режиме. Учитывая, что такой формат семейных отношений охватывает 15,7% украинских семей, в которых хотя бы один из членов работает за рубежом (ИОМ, 2008, с. 20), новейший для постсоветского государства социально-экономический институт ТС представляет собой важный и перспективный объект исследования, требующий тщательного изучения, особенно в плане его влияния на человеческий капитал вовлеченных в него лиц.

Транснациональная семья мигрантов определяется автором данной работы как модернизированная модель семейных отношений, основанная на «воображаемом союзе» ее мобильных членов, существующем на основе трансграничных взаимоотношений, когда один или более членов семьи работает за рубежом, но поддерживает регулярные родственные связи с родными, оставшимися дома, исполняет свои семейные и родительские функции и дистантно участвует в ведении домохозяйства (Толстокорова, 2013а, 2013б).

Таким образом, в качестве основных критериев, позволяющих квалифицировать семью мигрантов как транснациональную,

¹ В данном тексте предлог употребляется в соответствии с украинской языковой нормой.

² Согласно данным Мирового Банка за 2006 год, уже в середине 2000-х годов Украина занимала 3-е место в мире как донор трудовой силы после России и Мексики, опережая даже таких демографических гигантов, как Индия и Китай (World Bank, 2006, p. 23-24).

принимаются следующие: 1) дистантное участие члена семьи, работающего/ей за рубежом, в ведении домохозяйства на родине и в воспитании оставшихся дома детей; 2) регулярность финансовых поступлений из-за границы в оставшуюся на родине семью; 3) финансовая зависимость семьи мигранта/мигрантки от финансовых переводов из-за рубежа; 4) временный характер проживания мигранта/мигрантки за границей и намерение воссоединиться с семьей дома (Толстокорова, 2017б).

Трансграничный характер семейных отношений мигрантов является важной научной проблемой, поскольку предоставляет богатый материал для понимания взаимосвязи между возрастающей мобильностью населения и психо-эмоциональным благополучием современного общества высоких скоростей и технологий. Не меньшее значение имеет изучение тех повседневных практик, к которым прибегают мигранты для поддержания родственных отношений с оставшейся дома семьей и детьми вопреки пространственной дистанции и государственным границам и для преодоления эмоциональных травм от разлуки с родными. В постсоветских социальных науках, в частности, посвященных изучению границ, эта тема еще не привлекла внимания и исследователей и поэтому представляет собой научную лакуну, требующую заполнения. Это предопределяет актуальность данной работы, главной целью которой является выявление гендерно-специфических стратегий сопротивления эмоциональным рискам трансграничного родительства, используемых украинскими трудовыми мигрантами для обеспечения межпоколенной семейной солидарности в ТС. Практической задачей исследования является анализ обусловленности этих стратегий качеством эмоционального капитала мигрантов и выявление их влияния на режимы циркуляции заботы.

Теоретическая основа исследования. Данная статья продолжает цикл работ автора, посвященных проблематизации психо-эмоциональных рисков в трансграничных семейных отношениях родителей-мигрантов с их остающимися дома детьми (Толстокорова, 2017а, б). Ее теоретической задачей является дальнейшее развития понятия «эмоциональная культура мобильного родительства», предложенного ранее (Толстокорова, 2017б). Эмоциональная культура понимается вслед за американской исследовательницей социологии эмоций Арли Хоцильд как набор ритуалов, представлений и сакральных идеалов чувств, а также правил управления ими, определяющих эмоциональный фокус в социальных взаимоотношениях с другими людьми (Hochschild, 2003, p. 203).

Предполагается, что эмоциональная культура мобильного родительства основана на стремлении «трансмигрантов» (Glick-Schiller et al., 1992), кочующих из страны в страну, адаптировать свои родительские практики к нестандартному контексту «совместной жизни порознь» по разные стороны границы и их способностью заботиться об оставшихся дома детях, невзирая на пространственные барьеры. Она во многом обусловлена спецификой «виртуальной интимности» (Wilding, 2006) как императива трансграничной коммуникации, ставшей возможной благодаря возникновению мобильной телефонии и других высоких информационных и транспортных технологий в эпоху глобализации (см. Толстокорова, 2013г).

Понятие «эмоциональный риск» трактуется в соответствии теорией риска Энтони Гидденса и Ульриха Бека (Giddens, 1991; Beck, 1992) как определяющее свойство эпохи глобализации и постмодерна, проявляющееся в ощущениях нестабильности, незащищенности и неуверенности перед лицом стремительно и непредсказуемо изменяющейся окружающей реальности.

Работа исходит из представления, что способность к трансграничной заботе, понимаемой как «эмоциональный труд любви» (Hochschild, 1983), определяется качеством «межличностного эмоционального капитала» матерей и отцов-мигрантов, трактуемым в терминах теории немонетарных капиталов Пьера Бурдьё (Bourdieu, 1986) как уровень позитивной, концентрированной энергии, вкладываемой в работу или личную жизнь.

Гипотезой исследования является предложение, что качество эмоционального капитала детерминировано гендерным фактором, определяющим различные стратегии сопротивления эмоциональным рискам в трансграничных межпоколенческих отношениях мигрирующих матерей и отцов с оставшимися дома детьми.

В качестве интерпретативной основы для исследования стратегий сопротивления негативному эмоциональному эффекту географической дистанции на трансграничные родительские отношения используется теория «циркуляции заботы», разработанная социологами семьи Лореттой Балдассар и Лаурой Мерла (Baldassar, Merla, 2013). Она направлена на изучение различных механизмов оказания заботы и ухода в семьях мигрантов в условиях, когда один или несколько близких родственников работают за рубежом и поддерживают трансграничные отношения с оставшейся дома семьей. Согласно этой теории под «циркулирующей заботой» понимается

мультинаправленный, взаимный и асимметричный обмен заботой между поколениями транснациональных семей мигрантов.

Методология исследования. Данная работа является одним из этапов трансдисциплинарного проекта, направленного на изучение гендерных аспектов украинской трудовой миграции. Оно строится на интерпретативном подходе к анализу трансграничного родительства и использует в качестве эмпирической базы результаты полевого исследования, включавшего глубинные интервью и дискуссию в фокус-группе с 25 украинскими экспертами по вопросам миграционной, гендерной и социальной политики; полуформализованные интервью и два обсуждения в фокус-группах с 43 мигрантами и членами их семей (31 женщина и 12 мужчин); включенное и невключенное наблюдение за целевой группой исследования. Данные полевой работы обрабатывались с учетом результатов анализа вторичных теоретических источников и обзора материалов прессы по вопросам украинской трудовой миграции. Имена респондентов в тексте изменены из соображений соблюдения права интервьюируемых на анонимность.

Границы, семья и гендер

Как указывают ведущие современные миграционологи (Urry, 2000; Rumford, 2006; Richardson, 2013), в последние десятилетия, когда политическая карта мира переживает кардинальные трансформации, проблемы границ, наряду с вопросами мобильности, составляют центральную тематику социальных наук. При этом британский политический социолог Зигмунд Бауман отмечает, что в социальном пространстве современного глобального мира границы и расстояние превращаются в анахронизм и легко преодолевается посредством новейших ИКТ, создающих эффект компрессии пространства и времени (Bauman, 1998).

В то же время американская социолог и экономист Саския Сассен (2013) обращает внимание на распространенное заблуждение, что мы живём в мире, в котором существует намного меньше границ, чем еще 30 лет назад. Оно верно только если мы говорим о традиционных межгосударственных границах, а также о трансграничных потоках капитала, информации и конкретных групп населения. На самом же деле мы всё ещё далеки от мира без границ, и более того, даже по мере того как устраняются барьеры для некоторых секторов экономики и общества, эти же самые сектора создают новые типы уже поперечных границ, которые оказываются непроницаемыми.

Представляется, что к такому типу «поперечных границ» можно отнести символические внутрисемейные границы, возникающие между членами ТС в результате разделяющего их географического расстояния. Международная трудовая миграция, вызванная глобализационными процессами последних десятилетий, создаёт для семьи «новые фронтиры» (Bryceson, Vuorela, 2002), благодаря которым самые близкие родственники вынуждены поддерживать состояние «семейственности» в разных цивилизационных контекстах, будучи разделены не только пространственным, но и материально-экономическим и социально-культурным барьерами. Этот социальный процесс предполагает не только перемещение трудовой силы, но в первую очередь сложное взаимодействие человеческих личностей посредством семейной динамики, обуславливающей возникновение новых трансграничных практик и норм ухода и заботы, трансформирующихся временем и пространством. Представляется, что эти практики приводят к формированию у мигрирующих матерей и отцов особой эмоциональной культуры мобильного родительства, обусловленной географическим расстоянием. Она вызвана потребностью мобильных индивидов в преодолении «эмоционального дистанцирования» (Parreñas, 2008), неизбежно вызываемого пространственной раздельностью и создается благодаря инвестициям их эмоционального капитала в стратегии сопротивления эмоциональным рискам трансграничного режима родственных отношений, позволяющим сохранить семейную синергию.

При этом значимым фактором оказывается гендер как важный индикатор границ, который наряду с такими факторами, как возрастные, классовые, образовательные, религиозные, этнические, гражданские и др. различия оказывает существенное влияние на то, как географические границы и экзистенциальность трансграничности воспринимаются, создаются, переживаются, пересекаются, преодолеваются и воссоздаются разными людьми (Aaron et al., 2010; Якушенкова, 2013; Расина, 2017).

Анализ результатов исследования¹

Стратегии преодоления психо-эмоциональных вызовов трансграничности мигрантками-матерями

Анализ показывает, что выполнение украинскими женщинами семейных ролей жен и матерей в условиях миграции и трансграничности сопровождается серьезными психологическими

¹ Данный раздел статьи представляет собой доработанный и обновленный вариант одного из разделов работы автора: (Толстокорова, 2017а).

рисками, имеющими негативные последствия для их эмоционального капитала (Толстокорова, 2013в; 2017б; Wall et al., 2005; Tolstokorova, 2008; 2010; 2018). Трансграничный формат семейной жизни диктует необходимость построения как новых пространственных стратегий родительских и супружеских отношений, так и стратегий преодоления этих эмоциональных рисков. Для этого мигранткам приходится выстраивать «альтернативные конструкции» транснационального материнства (Hondagneu-Sotelo, Avila, 1997), сочетая ответственность за финансовое и материальное обеспечение семьи с обязанностями по воспитанию детей, осуществляемыми через барьеры государственных границ.

«Благо детей» как инструмент сопротивления: роль эмоционального капитала матерей для режима поддержания циркуляции заботы

Материалы полевого исследования показывают, что во время работы за рубежом женщины сталкиваются с эмоциональными проблемами, которые им не присущи дома. При этом благо детей является для них «миграционным императивом» (Толстокорова, 2012, стр. 397), позволяющим смягчить боль расставания с родными и близкими. Например, информантка Тамара рассказала, как ее эмоциональный капитал, основанный на чувстве ответственности перед детьми и семьей, помог ей преодолеть травматичный эмоциональный опыт трудоустройства домработницей в итальянской семье. В частности, она считала унижением для своего достоинства требование работодателя питаться только вместе с ее клиентом, не готовить еду для себя и не хранить в доме собственные продукты. Однако, и сама женщина, и ее родные в Украине сочли это неудобство «неизбежной эмоциональной платой» (Tolstokorova, 2010, p. 190) за те финансовые преимущества, которые получали ее дети благодаря трудоустройству матери за границей:

«Когда я пожаловалась об этом по телефону моей маме, она сказала: «Да, доченька, я тебя понимаю, как тебе тяжело. Но ты должна помнить: прежде всего – ты мать. Пока ты там, твоим детям здесь есть что есть, и мне есть чем платить за их учебу. Зажми свою боль в кулаке и терпи! Ради твоих детей...»» (Тамара, домработница в итальянской семье).

Стратегия «интенсификации материнства»: режим усиления циркуляции заботы

Как уже указывалось ранее (Толстокорова, 2012; Tolstokorova, 2010; 2018), физическое отсутствие в семье, невозможность близкого

повседневного контакта с детьми может вызывать у них «чувство родительской вины» (Wall, Arnold, 2007) перед детьми. В качестве компенсаторного механизма этому чувству женщины прибегают к стратегии «интенсивного материнства» (Hays, 1996), т.е. максимизации инвестиций эмоционального капитала в детей в форме максимальной степени любви, заботы и внимания. Эта стратегия интенсификации материнства мигранток сопровождается усилением циркуляции трансграничной заботы, которая может осуществляться в виде регулярно пересылаемых домой материальных и денежных средств, подарков к семейным торжествам, частых контактов по телефону, интернету, электронной и обычной почте, мобильной и SMS связи, визитов домой. Практики финансовой и материальной поддержки оставшихся дома детей выполняют для матерей функцию «эмоционального клея», позволяющего поддерживать эмоциональную связь с ними, невзирая на расстояния (McKay, 2007).

Следует отметить, что если для самих женщин материнская роль имеет первостепенное значение в миграционных стратегиях, легитимируя отъезд из дома, то их работодатели в странах трудоустройства воспринимают ее лишь как неудобный организационный казус и помеху, не заслуживающую внимания и тем более – поддержки (Cvajner, 2011, p. 369-370). Это осложняет процесс циркуляции материнской заботы из-за рубежа, а материнская идентичность мигранток оказывается ущемленной, что может служить деморализующим фактором трансграничного родительства.

Стратегии, используемые мигрантами-отцами для преодоления эмоциональных вызовов трансграничности

Морально-этический и психологический порядок современной семьи предполагает, что отец должен обеспечить своим детям не только финансовый, но и эмоциональный капитал, т.е. установить с ними эмоциональный контакт и предоставлять психологическую поддержку. Этот императив «двойной поддержки» (Busse, 2012) в условиях «двойного отсутствия» (Sayad, 1999) в семье является особенно сложно выполнимым для отцов-мигрантов, поскольку они вынуждены осуществлять семейные функции в условиях больших географических расстояний и барьеров государственных границ. При этом мужчины, безусловно, также страдают и их стратегии эмоциональной защиты могут иметь даже более самодеструктивный эффект, чем стратегии транснациональных матерей, хотя их переживания редко предаются огласке (Carlin et al., 2012, p. 195). Исследования показывают, что поддержание интимных отношений с оставшейся дома семьей является для мужчин даже большим вызовом,

чем для женщин, поскольку им сложнее адаптировать свою отцовскую роль к условиям дистантного родительства (Parreñas, 2008). Поэтому их эмоциональные контакты с семьей и эмоциональные инвестиции в нее отличаются большим разнообразием стратегий.

Исследователи указывают, что эмоциональная цена «отцовства на расстоянии» для мужчин пока еще практически не изучена (Dreby, 2010). Это замечание приобретает особую актуальность в свете утверждений, что в настоящее время мужчины, а не женщины приобретают статус «второго пола» (Бувуар, 2017) и поэтому существует социальный заказ на возврат к восприятию мужчин в традиционных ролях прародителей, брачных партнеров, отцов, воспитателей, и вообще людей с собственными эмоциональными потребностями (Inhorn et al., 2009).

В данной работе были выявлены три стратегии инвестирования эмоционального капитала, используемые мужчинами для преодоления эмоциональных рисков зарубежного трудоустройства и удаленности от семьи, и соответственно, три режима циркуляции заботы: стратегия поддержания стабильных эмоциональных связей с семьей в Украине, обеспечивающая режим эффективной циркуляции заботы; стратегия компенсации эмоционального дефицита одиноких отцов, протекающая в режиме усиления циркуляции заботы, и стратегия переформатирования эмоциональных связей, ведущая к снижению интенсивности или редукции циркуляции заботы.

Стратегия поддержания стабильных эмоциональных связей с семьей: режим эффективной циркуляции заботы

Тема заботы о детях и положительного психологического эффекта от ощущения значимости своей отцовской роли для благополучия потомства рефреном звучала в историях многих информантов-мужчин (см. Толстокорова, 2014). Она выполняла роль стимула, дающего им силы для преодоления трудностей и превратностей миграционного цикла (Tolstokorova, 2016). Так, благополучие дочери было основным лейтмотивом в интервью Олега, который долго скитался в поисках работы по Западной Европе перед тем, как нашел высокооплачиваемую работу в Австралии и перевез туда семью. Мужчина, которому во время его странствий приходилось голодать, питаться объедками и ночевать под открытым небом, с гордостью рассказал о том, что его «отцовским вознаграждением» за мытарства стала возможность обеспечить высокое качество жизни дочери, оплатив ей получение высшего образования в Сиднее, позволившее ей найти высокооплачиваемую работу в Австралии.

Забота о благополучии оставшейся в Украине 17-летней дочери придавала силы для сопротивления превратностям судьбы Сергею, отцу-одиночке, проработавшему 3 года в строительном секторе Москвы. Он рассказал о множестве вызовов, с которыми ему пришлось столкнуться во время работы в российской столице. В частности, мужчина поделился воспоминаниями о том, как в день выплаты зарплаты группа гастарбайтеров попала в облаву полиции, конфисковавшей у них весь заработок. Невзирая на опасность и безвыходность положения, первая мысль отца была не о том, как он проживет без денег целый месяц, а как отсутствие его финансовой помощи скажется на благополучии дочери. Он попытался объяснить это «стражу порядка», однако не нашел понимания:

«Я ему говорю: брат, ну будь человеком, оставь хоть немного. Я же не о себе пекусь, у меня дома дочка, 17 лет, одна дома осталась. Ей же нужно на что-то жить, а как она без моих денег? А он: «А кто тебе сказал, что у меня дочки нет? Мне тоже дочку кормить надо. Короче, гони бабки!»

Таким образом, интервью показывают, что для данной группы трансграничных отцов, как и для матерей-мигранток, эффективная циркуляция заботы и поддержание стабильных связей с оставшимися дома детьми и семьей является «миграционным императивом», а успешные и результативные инвестиции финансового и эмоционального капиталов в детей рассматриваются ними как «отцовские дивиденды» миграции (Толстокорова, 2014а, б; Tolstokorova, 2016).

Стратегия компенсации эмоционального дефицита одиноких отцов: режим усиления циркуляции заботы

Полевое исследование свидетельствует о том, что благодаря опыту миграции со свойственным ей одиночеством и отчуждением, некоторые мужчины начинали больше ценить свое отцовство и инициировали режим усиления циркуляции заботы о детях, выстраивая с ними трансграничные отношения, хотя до миграции могли пренебрегать отцовскими обязанностями. Например, бывшая жена мигранта Юлия рассказала историю взаимоотношений своего экс-супруга с дочерью (Толстокорова, 2014а). Семья распалась, когда девочка была еще грудным ребенком. После развода отец не интересовался дочерью и не поддерживал отношений с семьей, но когда девочке исполнилось тринадцать лет, вдруг вспомнил о ней и предложил скромную финансовую помощь. К тому времени мужчина уже долго работал в Италии, где прилично зарабатывал и мог позволить себе финансово поддерживать ребенка. Он стал

периодически звонить дочери по телефону, поздравлял с днем рождения и другими праздниками. Мать девочки была удивлена таким неожиданным «пробуждением» отцовских чувств, предполагая, что одиночество мужчины, проживающего за границей без семьи, на фоне упрочения финансового статуса и социального благополучия благодаря зарубежным заработкам, могло способствовать восстановлению отцовской привязанности в качестве стратегии компенсации эмоционального дефицита, свойственного жизни на чужбине. Как бы то ни было, именно повышение экономического статуса благодаря миграционным доходам побудило мужчину к возобновлению отношений с дочерью в трансграничном режиме и способствовало инвестициям родительского эмоционального капитала в нее, а девочка получила отцовское внимание, которого раньше не имела. Таким образом, в данном случае миграционный опыт способствовал восстановлению традиционной мужской роли «добытчика» и «кормильца», что послужило механизмом интенсификации родительской роли в качестве дистантного отца. Этот пример служит свидетельством того, что как это ни парадоксально, дистанция и трансграничность, вызванные миграцией и транснационализмом, могут выступать факторами, способствующими укреплению института отцовства даже в условиях фактического распада семей, и способствовать возобновлению прерванной циркуляции отцовской заботы уже из-за рубежа. Причем это способствует повышению качества эмоционального капитала как самих трансграничных отцов, так и их «заочных» детей.

Стратегия перестроения эмоциональных связей: режим снижения или редукции циркуляции заботы

Как правило, за рубежом все свои усилия мужчины сосредотачивают на поиске трудоустройства и зарабатывании средств для финансового обеспечения семьи. В результате они могут испытывать дефицит эмоционального капитала, необходимого для поддержания контактов с оставшимися дома родными. По этому поводу эксперты в своих интервью отмечали:

«Дистанция приводит к отчуждению. Такова человеческая природа. В разлуке она берет свое, она требует, что должна требовать» (Эксперт по женской и гендерной политике).

В результате, у мужчин-мигрантов усиление циркуляции финансовой заботы о семье может сопровождаться понижением циркуляции эмоциональной заботы о ней. В то же время нередки случаи и постепенного отмирания циркуляции заботы со стороны мужчин, когда после отъезда на заработки они прекращают отношения

с оставшейся дома семьей и детьми. Как показывают исследования, у отцов это происходит чаще, чем у матерей (Dreby, 2010). Так, среди мигрантов-мужчин, работающих в Португалии, являющейся основной страной назначения мужской миграции из Украины, преобладают те, кто за рубежом завели новые семьи и детей и не поддерживают отношений с семьей на родине (Grassi, Vivet, 2014, p. 3). Это согласуется с данными о трудовой миграции из других постсоветских стран, в частности из Таджикистана, свидетельствующими о том, что чем дольше мужчины остаются за рубежом, тем выше вероятность того, что они создадут себе новые семьи и перестанут поддерживать связь с родными, оставшимися на родине (International Crisis Group..., 2010).

«Если человек живет несколько лет за рубежом, семья распадается <...>. Если они жили раздельно несколько лет <...>, потом очень трудно восстановить отношения» (Эксперт женской неправительственной организации).

Интервью с украинскими экспертами подтверждают данные Джейсона Прибильски (Pribilsky, 2007) о том, что географическое расстояние тяжело переносится мужчинами. Им сложнее соблюдать верность семье и поэтому в странах трудоустройства они стремятся выстроить новые интимные взаимоотношения в качестве прибежища от психологического прессинга чужеродного окружения. Исследователи пост-советской миграции указывают, что для мужчин-мигрантов «полигамия де факто» становится стратегией выживания в стране трудоустройства (Аюпова, 2012, стр. 76-80).

Выводы

Как показывают исследования, коммуникативно-социализационные барьеры, создаваемые государственными границами, хотя и обуславливают множество психологических вызовов для всех поколений ТС – от самого младшего до самого старшего – не становятся для них непреодолимым фронтиром. И сами мигранты, и их семьи на родине находят силы и возможности для преодоления эмоциональных рисков, вызываемых географической дистанцией и государственными границами. Это становится возможным благодаря реструктурированию эмоционального капитала мигрантов-родителей в условиях зарубежной «жизни соло» (Кляйненберг, 2014) с целью компенсировать физическое отсутствие в семье посредством трансграничного «символического взаимодействия и обмена», составляющего специфику новой эмоциональной культуры мобильного родительства эпохи глобализации.

Данное исследование подтвердило гипотезу, что эмоциональный труд трансграничной любви, заботы и ухода распределяется внутри украинской ТС неравномерно и определяется гендерным фактором. У матерей-мигранток циркуляция заботы с оставшейся дома семьей либо поддерживается стабильно либо усиливается, поскольку инвестиции эмоционального капитала находят выражение в интенсификации материнства, являющейся дополнительной психологической нагрузкой на женщин, которая может иметь «эффект эмоционального выжигания» (Толстокорова, 2017а, стр. 296).

У мигрантов-отцов инвестиции эмоционального капитала, и соответственно, направление циркуляция заботы, более дифференцировано. Как и у матерей, оно может быть стабильным, но может и усиливаться, ослабляться или даже редуцироваться и перенаправляться на новые семьи в странах трудоустройства, которые выполняют функцию «эмоционального щита» (Толстокорова, 2017а, с. 296), смягчающего психологические риски и травмы, связанные с работой на чужбине. В последнем случае бремя эмоциональных издержек, вызванных разрушением прежних семейных отношений, перекладывается на плечи жен и детей, оставленных в Украине, ослабляя их эмоциональный капитал.

Обобщая, можно констатировать, что стратегии мигранток-матерей, направленные на преодоление эмоциональных рисков трансграничности и поддержание традиции «семейной межпоколенной солидарности» (Szydlik 2016) как правило оказываются более или менее успешными. В то же время мигранты-отцы могут испытывать дефицит эмоционального капитала и не всегда способны перенаправить его на восстановление синергии транснационального семейного пространства, фрагментированного «фамильными фронтами» миграции. То есть они оказываются менее успешными, чем женщины, в качестве «эмоциональных капиталистов» (Newman, 2008). Это является еще одним подтверждением феномена «репрессированной маскулинности» (Толстокорова, 2014, стр. 93), свойственной украинской трудовой миграции.

Список литературы

- Aaron, J. & Henrice, A. et al. (Eds.) (2010). *Gendering border studies*. Cardiff, University of Wales Press.
- Baldassar, L. & Merla, L. (Eds.) (2013). *Transnational Families, Migration and the Circulation of Care: Understanding mobility and absence in family life*. London: Routledge.

- Beck, U. (1992). *Risk society: Towards a New Modernity* / Transl. by M. Ritter. Newberry Park, CA: Sage Publications.
- Bauman, Z. (1998). *Globalization: The Human Consequences*. New York: Columbia University Press.
- Bodley, J.H. Victims of Progress (2008). Plymouth: AltaMira Press.
- Bourdieu, P. *The Forms of Capital* (1986). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Ed. J.G. Richardson, pp. 241-258. New York: Greenwood.
- Bryceson, D., Vuorela, U. (Eds.) (2002). *The Transnational Family. New European Frontiers and Global Networks*. Oxford: Berg.
- Busse, E. (2012). *The emotional cost of transnational fatherhood: Dilemmas of fathering from afar*. Paper for the Second ISA Forum of Sociology "Social Justice and democratization", Buenos Aires, Argentina, 1-4 August, 2012.
- Carlin, J., Menjivar, M., Schmalzbauer, L. (2012). Central Themes in the Study of Transnational Parenthood. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 38 (2), pp. 191-217.
- Cvajner, M. (2011). Hyper-femininity as Decency: Beauty, womanhood and respect in emigration. *Ethnography*, 12 (3), pp. 356-374.
- Dreby, J. (2010). *Divided by Borders: Mexican Migrants and Their Children*. Berkeley. CA: University of California Press.
- Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in a Modern Age*. Cambridge: Polity Press.
- Glick Schiller, N. & Basch L. et al. (Eds.) (1992). *Towards a Transnational Perspective on Migration. Race, Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered*. New York: Annals of the New York Academy of Sciences.
- Grassi, M., Vivet, J. *Fathering and Conjugalinity in Transnational Patchwork Families: the Angola/Portugal case* (2014). TL Network Working Paper Series, № 5.
- Hays Sh. (1996). *The Cultural Contradictions of Motherhood*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Hondagneu-Sotelo, P. & Avila, E. (1997). "I'm Here, but I'm There": the Meaning of Latina Transnational Motherhood. *Gender and Society*, 11, pp. 548-571.
- Hochschild, A. (1983). *The Managed Heart: the Commercialisation of Human Feeling*. Berkley: University of California Press.
- Hochschild, A. (2003). *The Commercialization of Intimate Life: Notes from Home and Work*. Berkley and Los Angeles: University of California Press.

- Inhorn, M. & Tjørnhøj-Thomsen, T., et al. (2009). *Reconceiving the Second Sex: Men, Masculinity, and Reproduction*. New York, Oxford: Berghahn.
- International Crisis Group Central Asia: *Migrants and the economic crisis* (2010). Asia Report № 183.
- IOM (2008). *Migration in Ukraine: A Country Profile 2008*. Geneva: International Organization for Migration.
- McKay, D. (2007). "Sending Dollars Shows Feeling": Emotions and Economies in Filipino Migration. *Mobilities*, 2 (2), pp. 175-194.
- Newman M. (2008). *Emotional Capitalists: The New Leaders*. Chichester: Wiley.
- Parreñas, R.S. (2008). Transnational Fathering: Gendered Conflicts, Distant Disciplining and Emotional Gaps. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 34 (7), pp. 1057 – 1072.
- Pribilsky, J. (2007). *La Chulla Vida: Gender, migration and the family in Andean Ecuadorian and New York City*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Richardson, T. (2013). *Borders and Mobilities: Introduction to the Special Issue*. *Mobilities*, 8 (1), pp. 1-6.
- Rumford Ch. (2006). Theorizing Borders: Introduction to Special Issue. *European Journal of Social Theory*, 9 (2), pp. 155–169.
- Sayad, A. (1999). *La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'émigré*. Paris: Liber.
- Szydlik, M. (2016). *Sharing Lives – Adult Children and Parents*. London, New York: Routledge.
- Tolstokorova, A. (2008). Locally Neglected, Globally Engaged: Ukrainian Women on the Move. In: R. Anderl & B. Arich-Gerz et al. (Eds.), *Technologies of Globalization. International Conference Proceeding*. pp. 44-61. Darmstadt: Technical University Darmstadt.
- Tolstokorova, A. (2010). Where Have All the Mothers Gone? The Gendered Effect of Labour Migration and Transnationalism on the Institution of Parenthood in Ukraine. *The Anthropology of East Europe Review*, 28 (1), pp. 184-214.
- Tolstokorova, A. (2016). Partitioned Paternity: Models of cross-border fathering in Ukrainian transnational families. In: V. Ducu & A. Telegdi Csetri (Eds.), *Managing Difference in Eastern-European Transnational Families*. pp. 27-42, Oxford, New York: Peter Lang.
- Tolstokorova, A. (2018). "And They Shall Be One Flesh...?": Gender convergence of family roles in transnational families of Ukrainian migrant women. In: I. Crespi & S.G. Meda et al. (Eds). *Making Multi-Ethnic and Transnational Families in Europe: Gender and*

- intergenerational relations*, pp. 154-160. London: Palgrave Macmillan.
- Urry, J. (2000). *Sociology Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-First Century*. London: Routledge.
- World Bank (2006). *Report. Migration and remittances: Eastern Europe and the former Soviet Union*. Eds. A. Mansoor & B. Quillin. Washington, DC: The World Bank.
- Wall, G. & Arnold, S. (2007). How Involved Is Involved Fathering?: An Exploration of the Contemporary Culture of Fatherhood. *Gender in Society*, 21, pp. 508-527.
- Wall, K. & Nunes, et al. (2005). *Female migration vision. Immigrant women in Portugal: migration trajectories, main problems and policies*. Lisbon.
- Wilding, R. (2006). "Virtual" Intimacies? Families Communicating across Transnational Contexts. *Global Networks*, 6 (2), pp. 125–142.
- Аюпова, Ш. (2012). Узбекская трудовая миграция из южной Киргизии в Россию и ее влияние на гендерные отношения. *Диаспоры*, 2, стр. 61-85.
- Бовуар, де С. *Второй пол* (2017). Перев. с фр. Е. Орловой. М.: Азбука.
- Кляйненберг, Э. (2014). *Жизнь соло: новая социальная реальность*. М.: Альпина нон-фикшн.
- Расина Э.О. Женщина на нижеволжском фронтире. *Журнал фронтирных исследований*, 3, стр. 21-31.
- Сассен, С. (2013). *Старые границы и новые пограничные возможности: город как зона фронта*. Лекция в институте «Стрелка». 13.06.2013. http://www.strelka.com/blog_ru/sassen-cities-as-frontier-zones/?lang=ru
- Толстокорова, А.В. (2012). «Мама моет раму в Риме»: Гендерные аспекты транснационального родительства в Украине. *Журнал исследований социальной политики*, 10 (3), стр. 396-408.
- Толстокорова, А.В. (2013а). Украинская транснациональная семья как модернизированная модель семейных отношений: панацея, яд или плацебо? *Социологический журнал*, 2, стр. 43-64.
- Толстокорова, А.В. (2013б). Транснациональная и гендерная парадигмы в изучении международной мобильности: на примере Украины. *Социологическое обозрение*, 12 (2), стр. 98-121.
- Толстокорова, А.В. (2013в). Унесенные ветром. Постсоветское поколение украинских женщин-мигранток. *Лабиринт*, 2, стр. 28-44.
- Толстокорова, А.В. (2013г). Любовь по телефону: роль мобильной телефонии в транснациональном материнстве украинских

- мигранток. *Журнал социологии и социальной антропологии*, XVI, (4 /69), стр. 142-158.
- Толстокорова, А.В. (2014а). «Папы всякие нужны»: трансформации института отцовства в украинской транснациональной семье. *Журнал социологии и социальной антропологии*, XVII, (3 /74), 94-111.
- Толстокорова, А.В. (2014б). О бедном мигранте замолвите слово...: модернизация маскулинности в украинской трудовой миграции. *Диаспоры*, 2, стр. 178-197.
- Толстокорова, А.В. (2017а). Трансграничное родительство: гендерные стратегии преодоления психо-эмоциональных проблем. В.И. Ионесов (Ред). *От фрагмента к целому: парадигмы культурных изменений*, стр. 277-298. Самара: Самар. гос. ин-т культуры, ЗАО «Сокол-Т».
- Толстокорова, А.В. (2017б). «Снова между нами города»: эмоциональные вызовы трансграничного родительства. *Телескоп*, 2 (122), стр. 17-23.
- Якушенкова, О.С. (2013). *Женщина на американском фронтире*. Астрахань: изд. Сорокина Р.В.

FAMILY FRONTIERS: GENDERED STRATEGIES OF RESISTANCE TO RISKS OF CROSS-BORDERNESS IN THE EMOTIONAL CULTURE OF MOBILE PARENTING

Alissa Tolstokorova

Alissa V. Tolstokorova, PhD, Associate Professor, Research expert
Independent Analytical Centre, Kyiv, Ukraine
e-mail: alicetol@yahoo.com

The paper sets out to identify and analyze in gender terms the gender-specific strategies of resistance to psycho-emotional risks of cross-borderness by labour migrants, having Ukrainian transnational families as the case in point. It develops the theory of emotional culture of mobile parenting offered in author's earlier works. The paper draws on the results of a field research. The analytical instrument used for the research of strategies of resistance to psycho-emotional challenges of cross-border family relationships the paper employs the theory of "care circulation". Departing from this interpretative framework the paper identifies 5 gender-specific strategies of resistance to psycho-emotional risks of cross-borderness used by Ukrainian migrant mothers and fathers. Migrant mothers resort to the following strategies of resistance: "children's best interests" as an instrument of resistance and the strategy of intensification of motherhood which operate within the care regime of increasing care. Migrant fathers use a greater variety of strategies, starting from a strategy of supporting stable emotional contacts with families which operates within the care regime of efficient care circulation, to the strategy of compensation of emotional

deficit of lonely fathers, which works by means of increasing care circulation regime and ending with the strategy of reversal of emotional family ties within the care regime of decline or reduction of care circulation.

Key words: cross-border parenting, Ukrainian labour migration, cross-border mothering, cross-border fathering, transnational family, emotional risks, emotional capital, gendered strategies of resistance, emotional culture of mobile parenting.

References:

- Aaron, J. & Henrice, A. et al. (Eds.) (2010). *Gendering border studies*. Cardiff, University of Wales Press.
- Ajupova, Sh. (2012). Uzbek labour migration from Southern Kirgizia to Russia and its impact on gender relations. *Diasporas*, 2, pp. 61-85.
- Baldassar, L. & Merla, L. (Eds.) (2013). *Transnational Families, Migration and the Circulation of Care: Understanding mobility and absence in family life*. London: Routledge.
- Beck, U. (1992). *Risk society: Towards a New Modernity* / Transl. by M. Ritter. Newberry Park, CA: Sage Publications.
- Bauman, Z. (1998). *Globalization: The Human Consequences*. New York: Columbia University Press.
- Bodley, J.H. *Victims of Progress* (2008). Plymouth: AltaMira Press.
- Bourdieu, P. *The Forms of Capital* (1986). *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Ed. J.G. Richardson, pp. 241-258. New York: Greenwood.
- Bouvoir, S. (2017). *The Second Sex*. Transl. from French by E. Orlova. Moscow: Azbuka.
- Bryceson, D., Vuorela, U. (Eds.) (2002). *The Transnational Family. New European Frontiers and Global Networks*. Oxford: Berg.
- Busse, E. (2012). *The emotional cost of transnational fatherhood: Dilemmas of fathering from afar*. Paper for the Second ISA Forum of Sociology "Social Justice and democratization", Buenos Aires, Argentina, 1-4 August, 2012.
- Carlin, J., Menjivar, M., Schmalzbauer, L. (2012). Central Themes in the Study of Transnational Parenthood. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 38 (2), pp. 191-217.
- Cvajner, M. (2011). Hyper-femininity as Decency: Beauty, womanhood and respect in emigration. *Ethnography*, 12 (3), pp. 356-374.
- Dreby, J. (2010). *Divided by Borders: Mexican Migrants and Their Children*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in a Modern Age*. Cambridge: Polity Press.

- Glick Schiller, N. & Basch L. et al. (Eds.) (1992). *Towards a Transnational Perspective on Migration. Race, Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered*. New York: Annals of the New York Academy of Sciences.
- Grassi, M., Vivet, J. *Fathering and Conjugalit in Transnational Patchwork Families: the Angola/Portugal case* (2014). TL Network Working Paper Series, № 5.
- Hays Sh. (1996). *The Cultural Contradictions of Motherhood*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Hondagneu-Sotelo, P. & Avila, E. (1997). "I'm Here, but I'm There": the Meaning of Latina Transantional Motherhood. *Gender and Society*, 11, pp. 548-571.
- Hochschild, A. (1983). *The Managed Heart: the Commercialisation of Human Feeling*. Berkley: University of California Press.
- Hochschild, A. (2003). *The Commercialization of Intimate Life: Notes from Home and Work*. Berkley and Los Angeles: University of California Press.
- Inhorn, M. & Tjørnhøj-Thomsen, T., et al. (2009). *Reconceiving the Second Sex: Men, Masculinity, and Reproduction*. New York, Oxford: Berghahn.
- International Crisis Group Central Asia: Migrants and the economic crisis* (2010). Asia Report № 183.
- IOM (2008). *Migration in Ukraine: A Country Profile 2008*. Geneva: International Organization for Migration.
- Klajnenberg. E. (2014). *Living Solo. A New Social Reality*. Moscow: Alpina NonpFiction.
- McKay, D. (2007). "Sending Dollars Shows Feeling": Emotions and Economies in Filipino Migration. *Mobilities*, 2 (2), pp. 175-194.
- Newman M. (2008). *Emotional Capitalists: The New Leaders*. Chichester: Wiley.
- Parreñas, R.S. (2008). Transnational Fathering: Gendered Conflicts, Distant Disciplining and Emotional Gaps. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 34 (7), pp. 1057 – 1072.
- Pribilsky, J. (2007). *La Chulla Vida: Gender, migration and the family in Andean Ecuadorian and New York City*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Rasina, E. Woman at the frontier of the lower Volga region. *Journal of Frontier Studies*, 3, 2017.
- Richardson, T. (2013). *Borders and Mobilities: Introduction to the Special Issue*. *Mobilities*, 8 (1), pp. 1-6.
- Rumford, Ch. (2006). Theorizing Borders: Introduction to Special Issue. *European Journal of Social Theory*, 9 (2), pp. 155–169.

- Sassaen, S. (2013). Old Borders and New Pre-Frontier Possibilities: City as a Frontier Zone. Lecture at the “Strelka” Institute, 13.06.2013.http://www.strelka.com/blog_ru/sassen-cities-as-frontier-zones/?lang=ru
- Sayad, A. (1999). *La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'émigré*. Paris: Liber.
- Szydlík, M. (2016). *Sharing Lives – Adult Children and Parents*. London, New York: Routledge.
- Tolstokorova, A. (2008). Locally Neglected, Globally Engaged: Ukrainian Women on the Move. In: R. Anderl & B. Arich-Gerz et al. (Eds.), *Technologies of Globalization. International Conference Proceeding*. pp. 44-61. Darmstadt: Technical University Darmstadt.
- Tolstokorova, A. (2010). Where Have All the Mothers Gone? The Gendered Effect of Labour Migration and Transnationalism on the Institution of Parenthood in Ukraine. *The Anthropology of East Europe Review*, 28 (1), pp. 184-214.
- Tolstokorova, A. (2012). Mommy Washes Windows in Rome: Gender Aspects of Transnational Parenting in Ukraine. *Journal of Social Policy Studies*, 10 (3), pp. 396-408.
- Tolstokorova, A. (2013a). Ukrainian transnational family as a modernized model of family relationship: panacea, poison of placebo? *Sociology Journal*, 2, pp. 40-62.
- Tolstokorova, A. (2013b). Transnational and Gender Paradigms in the Study of International Mobility. *Russian Sociological Review*, 12 (2), pp. 198-121.
- Tolstokorova, A. (2013c). Gone with the Wind: A Post-soviet generation of Ukrainian migrant women. *Labyrinth. Journal of Socio-Humanitarian Research*, 2, pp. 28-44.
- Tolstokorova, A. (2013d). Love over the Phone: Role of Mobile Communication Technologies in Transnational Motherhood of Ukrainian Migrant Women. *Journal of Sociology and Social Anthropology*. XVI, (4 /69), pp. 142-158.
- Tolstokorova, A. (2014a). All the Daddies are Welcome: Transformations of the Institution of Fatherhood in Ukrainian Transnational Family. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, XVII, (3 /74), pp. 94-111.
- Tolstokorova, A. (2014b). A Poor Dear Migrant Man Should Also Be Mentioned: Modernization of masculinity in Ukrainian labour migration. *Diasporas*, 2, pp. 178-197.
- Tolstokorova, A. (2016). Partitioned Paternity: Models of cross-border fathering in Ukrainian transnational families. In: V. Ducu & A.

- Telegdi Csetri (Eds.), *Managing Difference in Eastern-European Transnational Families*. pp. 27-42, Oxford, New York: Peter Lang.
- Tolstokorova, A. (2017a). Cross-Border Parenthood: Gendered strategies of overcoming psycho-emotional problems. In: V.I. Ionesov (Ed.) *Paradigms Of Cultural Changes: From a fragment to the whole*, pp. 277-298. Samara: Samara State Institute of Culture, ZAO "Sokol-T".
- Tolstokorova, A. (2017b). Again There Are Cities Between Us: Psycho-emotional challenges of cross-border parenting. *Telescope: Journal of Sociologic and Marketing Research*, 2 (122), pp. 17-23.
- Tolstokorova, A. (2018). "And They Shall Be One Flesh...?": Gender convergence of family roles in transnational families of Ukrainian migrant women. In: I. Crespi & S.G. Meda et al. (Eds). *Making Multi-Ethnic and Transnational Families in Europe: Gender and intergenerational relations*, pp. 154-160. London: Palgrave Macmillan.
- Urry, J. (2000). *Sociology Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-First Century*. London: Routledge.
- World Bank (2006). *Report. Migration and remittances: Eastern Europe and the former Soviet Union*. Eds. A. Mansoor & B. Quillin. Washington, DC: The World Bank.
- Wall, G. & Arnold, S. (2007). How Involved Is Involved Fathering?: An Exploration of the Contemporary Culture of Fatherhood. *Gender in Society*, 21, pp. 508-527.
- Wall, K. & Nunes, et al. (2005). *Female migration vision. Immigrant women in Portugal: migration trajectories, main problems and policies*. Lisbon.
- Wilding, R. (2006). "Virtual" Intimacies? Families Communicating across Transnational Contexts. *Global Networks*, 6 (2), pp. 125–142.
- Yakushenkova, O. S. (2013). *Woman on the American frontier*. Astrakhan: R.V. Sorokin Publisher.

THE WHITE TSAR AND HIS «UNFAITHFUL» SUBJECTS: INTERCULTURAL DIPLOMACIES ON RUSSIA'S ASIAN FRONTIER

Khodarkovsky M.

Khodarkovsky Michael, Loyola University
Crown Center 507, Chicago, IL 60660, USA
E-mail: mkhodar@luc.edu

What is Russia? Is it “a riddle wrapped in a mystery” as the British Prime Minister Winston Churchill famously described it? A state driven by “messianic expansionism” according to the Nobel Peace Prize winner Andrei Sakharov? A civilization stuck between apocalypse and revolution in the words of the 20th century Russian philosopher Nikolai Berdyaev? Or is it simply a space defined by its vast size, imperial ideology, intertwined cultures, and co-habiting civilizations?

This paper examines how a Russian government approached and conceptualized its relationship with various non-Russian peoples during Russia's relentless expansion along the southern and eastern frontiers. Throughout the centuries, Russia's paramount concerns remained geopolitical rather than commercial. From the outset, Russian authorities insisted on the non-Russians' subordinate political status codified through diplomatic means. Indigenous peoples, however, perceived their relationship with Russia through the prism of their own societies, which exhibited significant structural differences with that of the Russian state. Perceiving the native peoples through a set of distorted mirrors and its own rigid ideology, Russian authorities consistently denied a colonial nature of what was, in fact, Russia's colonial empire. Inevitably, however, the rise of ethnic and national identities among the non-Russian peoples within the empire pulled down the very imperial structures that helped to create them.

Key words: Frontier, Russia, Caucasus, diplomacy, intercultural dialogue, colonial administration

It is, of course, a truism to say that Russia was an empire that, like its imperial symbol, the double-headed eagle, simultaneously faced east and west. What is important to emphasize, however, that Russia's imperial challenges and therefore the government objectives and policies differed substantially in the west and east. In the west, Russia confronted sovereign Christian states with distinct political and geographic boundaries. In the east, beginning from the middle of the 16th century, Russia was expanding into the areas populated by a multitudes of peoples, whose societies were primarily tribal, with segmented political authority, nomadic or semi-nomadic, and above all, non-Christian (animist, Muslim, and Buddhist). No clear state boundaries could be drawn here, and only a fluid zone of uncertainty, a frontier separated advancing Russian posts from the indigenous population. How Russia approached and conceptualized its

relationship with the various peoples it encountered in its southern and eastern borderlands is the focus of this paper.

Until the mid-eighteenth century, one would search in vain for any memoranda addressing Moscow's foreign policies or any attempt to reason and articulate its attitudes and policies toward the peoples along the frontiers. It is hardly surprising that in highly centralized Muscovy, the opinions of local officials were not solicited, and any discussion of such issues was limited to a narrow and secretive circle of the tsar's advisors. Nonetheless, the evolution of Russia's perceptions of and attitudes toward its southern neighbors is clearly visible through the changes in the government's use of royal titlature and diplomatic procedures.

Ivan III was the first ruler to appropriate the title of tsar, but it was not recognized outside Muscovy, and his son, Vasili III, reverted to the less controversial title of grand prince. The elaborate coronation of Ivan IV in 1547 as the tsar of all Russia was only one sign of Moscow's renewed confidence and assertiveness. To assume the title of tsar was an act of tremendous diplomatic and political ambition, for it meant to declare the Muscovite ruler equal to the kings of Europe and the khans of the steppe. But it was also more than that. In a direct challenge to the Holy Roman Emperor and the pope, Ivan IV confirmed the Muscovite rulers' claim to be heirs to Byzantium and his status as emperor and universal Christian ruler who "upheld the true Christian faith." Ivan's assumption of the title of tsar and his subsequent conquests of Kazan and Astrakhan were an equally unambiguous challenge to the status of the Crimean khan as the sole heir to the Golden Horde. Moscow was to be the center of the universe, as the Muscovites knew it, and its ruler was the tsar, the heir to the Byzantine emperors and sovereign of all Christians, and the "white tsar," a title that in the world of steppe diplomacy was reserved for the heirs of the Golden Horde. In other words, Moscow was the Third Rome, the New Jerusalem, and the New Saray, all at the same time¹.

Convincing its Muslim neighbors, the Crimean khans and Ottoman sultans, that Moscow was a sovereign state equal to its western counterparts was an uphill battle. The Muscovite sovereign's appropriate titlature was to be safeguarded at all costs. In 1515 the Muscovite envoy to the Ottoman Porte was to watch carefully that the title of the Muscovite

¹ The idea of the Muscovite princes as heirs to the Chinggisid rulers of the Golden Horde was first developed by one of the founders of the "Eurasian" school, N. Trubetskoi, in *Nasledie Chingiskhana* (Berlin, 1925). Various aspects of this idea were further discussed by George Vernadsky in *A History of Russia* (1969), and Michael Cherniavsky in "Khan or Basileus: An Aspect of Russian Mediaeval Political Theory," (1959, pp. 459–76). Moscow clearly displayed its attitude toward Rome during its negotiations with the pope's Jesuit envoy, Antonio Possevino, in 1582. Possevino strongly objected when the Russians referred to the pope as if he were an ordinary priest. He exhorted them that the emperor and other rulers considered the pope a representative of God and the teacher of all Christians (Possevino, pp. 128–29, 173).

sovereign not be belittled and that the sultan refer to the grand prince of Moscow as “brother,” on the grounds that the grand prince was the brother of the Roman emperor, Maximilian, and other glorious rulers. To check whether the title was rendered correctly, the envoy had to request a Russian translation of the Ottoman text and take it to the Russian embassy’s residence, where it could be checked against Moscow’s version (SIRIO, 1895, p. 113).

Early Russian diplomacy was extremely prescriptive, rigid, and centralized. The embassy was expected to send regular messages back to Moscow as it proceeded toward its destination. Discouraged from any personal initiative in negotiations, the envoy carried with him several versions of the proposed treaty. He was to submit and insist on the acceptance of the first version. While appearing to negotiate, the envoy, after much bargaining, was merely to replace one fully drawn-up version of the treaty with another until one of the versions of the treaty was finally agreed to by the other side.

Diplomatic protocol also had to reflect the new conquests of the Muscovite rulers, which often proved a challenging task. Thus, in 1655, the Crimeans refused to recognize the tsar’s title, which described him as a grand sovereign of Lithuania, Little and White Rus, Volyn, and Podol’e. In response to the Muscovite envoy’s protestations, the Crimean official stated that the title was improper. In addition to demanding the appropriate titlature for the Russian ruler, Moscow instructed its envoys to communicate directly with the Crimean khan or sultan and to refuse to kneel in their presence. More than one Muscovite ambassador was thrown out of the courts of various Muslim rulers and Chinese emperors for arrogant and disrespectful behavior (ARAN, F. 1714, op. 1, Novosel’skii, A. A., no. 66, l. 21; SIRIO, 1884, pp. 231–36, 264).

The stubbornness of Russian government’s officials and its envoys abroad was, of course, more than bureaucratic rigidity. It concerned honor, prestige, and dignity, all of which Moscow was eager to acquire. Honor, however, was a product of the specific political culture, and it is not surprising that Moscow’s expectations often differed from those of its neighbors. One symbolic and recurring issue was the Russian Christian custom of taking off one’s hat as a sign of respect. The customs of other peoples demanded the opposite, to have the head covered.

Taking off one’s hat in honor of the Russian monarch became first and foremost a symbol of submission, and it was demanded from Muslims and non-Muslims alike. A comic compromise on the issue was reached between the Russian envoy to the Kalmyks, the diak I. S. Gorokhov, and the Kalmyk *tayishi*, Daichin, in 1661. During the reception, Gorokhov suggested that Daichin should stand up and take off his hat when the name

of the tsar was mentioned. When Daichin replied that the Kalmyks did not have such a custom, Gorokhov reproached him, saying that monarchs of all states did so, and for Daichin to remain seated with his hat on was to show dishonor. An embarrassed Daichin explained that he meant no offense. As a compromise, he ordered his interpreter to stand up and continue to translate with his hat off. On this Daichin and Gorokhov agreed (Khodarkovsky, 1992, p. 69).

Honor was commensurate with status and status with presents, which were of particular importance in steppe societies. Russian envoys at the courts of the nomadic chiefs and the Crimean khan were abused when they refused to submit the required presents and payments, and in return the envoys from the steppe were thrown out of Moscow.

Conscious of its spectacular rise, Moscow viewed the Golden Horde's numerous successors as lacking the essential trappings of sovereign states and increasingly dependent on Moscow's economy and military might. By the seventeenth century, Christian Muscovy was making increasingly clear its superior status through diplomatic language even before confirming it with military victories.

Traditionally, Moscow's primary concerns were geopolitical and military. With exception of the fur trade in Siberia, commercial considerations were almost always secondary. During the first encounters with the indigenous peoples, Moscow invariably insisted that they become the tsar's faithful subjects. Their subject status was not open to negotiations. The subject status of the natives in the empire's southern and eastern frontiers was conceptualized in specific terms, which were used only in these regions. All of these terms were of Turkic origin and indicated that Moscow conceived of itself as a legitimate heir to the Golden Horde.

But claiming legitimate authority over the numerous non-Christian peoples, who previously formed a part of the Golden Horde, also meant adhering to the traditional Mongol political practices. Thus, it was not accidental that Moscow conceptualized its relations with the peoples in the eastern and southern borderlands in terms distinctly different from those used in the empire's western territories and that these terms were of Turko-Mongol origin. In other words, in its Asian territories Moscow excluded itself from the more nuanced system of international relations, which prevailed in Europe and which was based on Roman legal practices, such as the *amicitia*, a traditional treaty cementing an alliance between Rome and the non-Romans. The suzerain versus subject relationship was the only way the tsar, who considered himself a universal sovereign, could conceptualize his relationship with the non-sovereign, non-state organized societies. In this regard, Russia's application of the concept of a universal

sovereignty in its Asian borderlands was similar to those of the Ottomans and Chinese.

More than once the Russian rulers claimed to be the descendants of Chinggis khan, the only way to claim legitimacy among the peoples of the former Golden Horde. Perhaps the most comic example of such a claim was General Aleksei Ermolov's embassy to the Iranian court. In May 1816 Ermolov arrived in Tiflis to assume command of the Georgian Corps, later renamed into the Caucasian Corps. A man of war, he found himself in an atypical role a year later, when he was entrusted with a delicate peace mission to Iran. His task was to mollify the Iranian court into acquiescing to Russia's annexation of Azerbaijan and accepting the Russian border along the Kura and Araks Rivers. The Iranians had been forced to cede control of most Azeri provinces to Russia in the Treaty of Gulistan in 1813, but now, encouraged by Britain, they were pushing to revisit the conditions of the treaty. Ermolov was instructed to reject the Iranian demand for Russia's withdrawal north of the Terek River but to do so without provoking a military confrontation with Iran, whose army had been newly supplied and trained by the British East India Company officers.

Ermolov's tough, direct, and uncomplicated approach combined with a derisive and condescending attitude toward "Asiatic customs" was both confrontational and offensive to his Iranian hosts. Arrogant and cocky, Ermolov behaved like so many Russian envoys before and after him who balked at following the customs of various royal courts lest the dignity of the Russian envoys and the sovereign they represented be compromised. Defying custom, Ermolov refused to take off his boots and put on red socks before entering the royal quarters. In return, he was not allowed inside the palace and was received in the courtyard.

During his brief ambassadorial mission Ermolov displayed the righteousness, conceit, and disdain that characterized his attitude toward "the oriental other." Relying on contemporary clichés that viewed the Orient as a place of corrupt, immoral, treacherous, and cruel despotism, he ignored St. Petersburg's instructions to spend the large sum allocated for gifts for the Iranian court and instead directed most of the embassy funds toward the construction of a Russian military hospital in Tiflis.

Ermolov also believed that the "Asiatics" were guided by different moral standards where notions of truth and honor need not apply. At one point during the negotiations, he proclaimed himself a descendant of the Chinggis khan and mused unabashedly about his destiny of representing the country that had long been ruled by his ancestors. To convince their incredulous hosts, the Russians produced Ermolov's cousin, who at the time was serving in the Russian consulate in Tabriz and whose high cheekbones indeed made him look Asian. This was a grand and daring lie!

In the world of Asian politics, the claim of Chinggisid heritage meant that one had a legitimate right to the throne; this therefore implied that the “Chinggisid” general in command of the large army across the border was a serious threat to Iran’s ruling dynasty. Whether this absurd claim was taken as seriously as Ermolov believed it was, we do not know (Khodarkovsky, 2012, pp. 66-69).

Throughout the time, while preserving the traditional terminology, the Russian government infused it with a meaning of its own, that is a rationally understood concept of sovereignty. Henceforth these were to be policy concepts intended to emphasize the tsar’s unquestionably superior political status. As usual, political rhetoric and reality did not match, and many of the non-Christian peoples continued to view Moscow in traditional terms.

For almost three centuries since Moscow’s early conquests in the 1550s the Russian government relied on several specific terms to define its relationship with the peoples in the south and east of the expanding empire. All of these terms were traditionally used in the Turko-Mongol world to describe a broad range of relationships. In time, Moscow succeeded in redefining these terms and suffusing them with the meaning of its own. Thus, a *shert*, traditionally understood as a peace treaty, became an oath of allegiance to the tsar, an *amanat*, an exchange of hostages with the status of eminent guests, became a one-way hostage taking, a *yasak*, a form of a barter transaction, became a tribute, and the Muscovite rulers’ own traditional tribute to the native chiefs morphed into presents and annuities now generously bestowed by Moscow. Taken together with a systematic and deliberate mistranslating of the written and oral communications with the indigenous peoples, these terms became a set of colonial tools intended to turn the formerly independent peoples into Russia’s subjects¹.

The reality, however, was different. The native chiefs and their elites understood their relationship with Moscow in different terms. They projected onto Russia the conceptual framework of their own societies characterized by a high degree of political differentiation and independence of the elites from their nominal chief. Instead of a suzerain, they conceived of Moscow as their ally and saw their relationship with Moscow as that of a military and political alliance between the older (Moscow) and younger (local chief) brothers. Not surprisingly, misinterpretations and different expectations on both sides resulted in numerous conflicts.

Shert: a Treaty or an Oath of Allegiance?

¹ For a detailed discussion of these issues, see Michael Khodarkovsky (2002, ch.2).

Moscow's presence in the region was marked from the very beginning by a single concern: securing the political loyalty of the local peoples. From a Russian point of view this was accomplished through a ritual idiom of pledging an allegiance (*shert*) to the Russian sovereign. But the government's official rhetoric of self-aggrandizement and the ritual of allegiance, which portrayed the natives as the subjects of Moscow, persistently failed to recognize that the reality differed substantially from the official language. The government preferred to deny the uncomfortable fact that Russia's relationship with the local chiefs was more akin to a military-political alliance of unequal but independent rulers.

At various times, Russian officials and military commanders observed that applying the yardstick of the empire's official terminology to the natives was not helpful. During the eighteenth century, several prominent natives of the Caucasus, who had long been in Russian imperial service, advised the government to adopt a more realistic view of the indigenous peoples. In 1714 Prince Alexander Bekovich-Cherkasskii wrote to Peter I and stated unambiguously that "these peoples [the Kabardinians] were independent and submitted to no one." Bekovich-Cherkasskii explained that the nature of relations between the Kabardinians and Russia was no different than that of the Kumyks with Persia, whose rulers traditionally provided large payments for the Kumyks to ensure their amity. Addressing the same issue in his report to the Senate in 1762, the Georgian prince and lieutenant colonel in the Russian army, Otar Tumanov stated emphatically that the peoples of the North Caucasus were Russian subjects more in name than in fact (Russko-dagestanskii otnosheniya 17–pervoi poloviny 18 vv., no. 96, pp. 224–25; RGADA, F. 248, op. 113, Opis' del Sekretnoi Ekspeditsii Senata, d. 1257, l. 14 ob).

If they could have been dismissed as too sympathetic to their kin, this could apply to Russia's legendary commander, the future field marshal Alexander Suvorov. In 1779, after having received a report about the oath of allegiance taken by the Adyges, Suvorov penned in the margins, "The notion of becoming a subject is not as important in their language as it is in Russian. It is better to avoid such descriptions." (Sokurov, pp. 116–117).

For Suvorov the conceptual differences between Russia and the native peoples implied the need for a better understanding of the other side, but for others they were a call for even harsher measures when dealing with the natives. Such was the case of his superior commander, General A. P. Tormasov, that the oath of allegiance was meaningless to the natives and putting it in writing was of no help. Yet, if Russian military commanders allowed such glimpses of reality in their internal correspondence, the same was not permissible in their reports to St. Petersburg. A year later, despite Delpozso's warning, General Tormasov reported to the emperor that the

Ingush people had voluntarily taken an oath and became the eternal subjects of His Imperial Majesty (АКАК, 1870, pp. 471, n. 654). At one point, Russian authorities began to use the term “half-loyal highlanders” to capture the ambiguity of the situation. To reconcile Russia’s claims to the region and its peoples with the contrasting reality was never an easy matter. The supreme commander in the Caucasus, General I. F. Paskevich, attempted to do so in 1830, following the orders from the capital to compile a map of the Caucasus demarcating the peoples who had submitted to Russian rule. A large part of the map that was eventually sent to St. Petersburg was colored green, indicating the peoples loyal to Russia. Paskevich was compelled to attach a special report explaining that even though “the green line on the map delineated the peoples who swore allegiance to the sovereign and emperor, this did not mean that they had been subdued, because many of them often violated their allegiance which they usually swore as a matter of temporary necessity during the military expeditions against them.” (Lapin, pp. 257-258)

The reports from the Asian frontiers and the advice of the local commanders fell on deaf ears in St. Petersburg. One incident from the Kazakh steppe provides a particularly useful insight into the mentality of the Russian officials and their attitude towards the numerous non-Christian peoples in the south and east of the empire. In October 1731, a Tatar translator from the Russian Foreign Office, Aleksei Tevkelev (Muhammad Qutlu Tawakkul), was dispatched to the Kazakh khan, Abulkhayir to execute the oath of allegiance. Unexpectedly Abulkhayir confessed that he was the only one interested in a Russian protectorate, that the Kazakh notables were against it, and that they could be convinced only if offered numerous presents. He explained that after losing his towns and his wife to the Oirats, he had found himself surrounded by enemies: the Oirats in the east, Bukhara and Khiva in the southwest, the Kalmyks and Bashkirs in the northwest. He now was at peace with Bukhara, Khiva, and the Kalmyks, although the latter were unreliable. If he could secure peace with the Bashkirs, he could then avenge himself against the Oirats. But because the Bashkirs refused to reconcile without the tsar’s permission, he wished to become Russia’s subject, so he could make peace with them.

Abulkhayir’s motives in his search for Russian protectorship could hardly have been more prosaic. The following events exhibited the inner workings of Kazakh society and displayed both Abulkhayir’s ability to appropriate the Russian political vocabulary by promising to become Russia’s subject and the popular Kazakh opposition to his subservient relationship with Russia. A week later Tevkelev witnessed a sharp exchange between the notables and the khan. While the notables loudly protested that the khan had written to Russia and asked to become an

imperial subject without the customary consultation with them, Abulkhayir complained that he had no power over the Kazakhs and was a khan only in name. When the notables emphasized that they had advised the khan to have his envoys sent to Russia only to conclude a peace treaty, and not to submit to the Russian sovereign, it was Tevkelev's turn to respond. His tirade was one of indignation: "The Russian Empire is in high repute among many states in the world, and it is not befitting such an illustrious monarch to have a peace treaty with you, steppe beasts, because the Russian Empire has no fear of the Kazakhs and not the least need of them, while the Kazakhs are in great danger from Russian subjects, the Kalmyks, Bashkirs, Yaik Cossacks, and from the Siberian towns." He added that even sovereign tsars and khans were Russian subjects (Georgians, Kalmyks, Kabardinians, et al.), and signing a peace treaty with the Kazakhs would only defame the Russian Empire (*Kazakhsko-russkie otnosheniia v 16–18 vv.*, no. 33, pp. 53–54).

Amanat: a Hostage or a Guest

Another critical institution in conceptualizing Russia's relations with the non-Christian, non-state organized societies was the *amanat* or hostages. Typically the Russian government and the native chiefs held different assumptions and expectations of hostage taking. Russian officials traditionally demanded hostages from among the sons of the local chiefs as a confirmation of the native peoples' oath of allegiance and their unconditional and exclusive submission to the Russian tsar and emperor. The natives, on the other hand, regarded submission of hostages as a reluctant but necessary act, which accompanied their military alliance with Russia. In 1779 the nobles of the Greater Kabarda explained to the Russians that they understood their hostages as being guests (*kunaks*) of the Russians and a symbol of a kind of a mutual nonaggression treaty.

In time, the institution of hostages evolved to produce Russia's indigenous colonial elite. From the late eighteenth century on, Russian authorities began to demand that the native elites send their sons to the imperial capital to be educated at the emperor's court or in Russia's prestigious military schools. The formation of the special non-Russian units of the imperial guard in the 1820s sought to serve the same purpose—to educate and acculturate young men from distinguished indigenous families. In contrast to previous policies of assimilating and turning non-Christians into Russians, the authorities were now satisfied with merely acculturating these indigenous elites. The newcomers were to learn the Russian way of life but at the same time remain sufficiently "native" to command legitimacy among their own peoples. They were expected to return to their kin as cultural interlocutors, projecting Russian influence

and representing imperial interests. In other words, the former hostages were to become a freshly minted colonial elite.

Distorted Mirrors

Yet even then the political terms and notions of both old and new Russia continued to collide with the traditional notions of the native societies. I have shown in my previous work that long after the initial encounters, the relationship between Moscow and many of its newly acquired subjects was based on structural misconception and misunderstanding of each other. Where Moscow saw a suzerain-subject relationship reinforced by hostage taking, the natives saw a mutual military alliance of partners where the young native men were sent to Russia as an act of trust; where Moscow saw a tribute (*yasak*), the indigenous people believed to be an exchange and barter; and what Russian government believed was an annuity and presents sent to the chiefs, the natives saw as a tribute paid to them to maintain peace along the frontier.

Many of the same customs that the Russian authorities confronted throughout the entire Eurasian steppe tenaciously stood in the way of Russian colonization of the North Caucasus. The native societies continued to rely on the *barimta*, a widely practiced custom of seizing herds or humans as bargains in adjudicating disputes, which the authorities saw as simple brigandage. The *kanly*, a kin-based vendetta against an enemy and his kin that could involve several generations, often seemed to the Russians to be unstoppable. The boundaries of families and clans were extended further through the institution of *atalyk*, which promoted bonds across different clans and social groups through the adoptive relations between fathers and sons. Another long-established tradition continued to spit out socially ostracized individuals or communities, the *abreks*, who became the most formidable raiders across the frontier. Finally, the institution of the *konak*, had also sealed the bonds of the inviolate hospitality between the individuals and often those seeking refuge as the *konaks* proved to be outside the reach of Russian authorities (Leontovich, 1882; Kosven, 1964; Gardanov, 1967).

Russia's attempt to impose its political and legal norms upon the indigenous societies continued to be at odds with the traditional values and practices forged through the centuries of communal experience. Russian imperial authorities saw some indigenous institutions as particularly invidious in constraining the government's ability to impose imperial rule and order in the region. For example, native peoples conceptualized their relationship with the Russian authorities through two traditional institutions: the *maslakhat*, a truce and an alliance against a common enemy, and the *konak* (*kunak*), a form of patronage and mutual protection.

Neither of these implied the kind of subservient relationship that the Russians expected from their putative subjects.

Russia's acquaintance with the region began with the peoples of the plains and the foothills of the northeast Caucasus, the Kumyks and Kabardins. It was the Kumyks who provided the Russians with the first glimpses into the native societies of the North Caucasus. The Kumyks were a part of the Turko-Mongol world and spoke a dialect of the Turkic language that was a lingua franca throughout the Eurasian steppe. They possessed the most centralized political structure among the peoples of the region. At the top of the social hierarchy of princes and nobles, known as the *uzden*, was a ruler with the title of the *shamkhal* who exercised substantial political authority.

The Kabardins and their language belonged to a distinct Adyge-Abkhazian branch of the Caucasian language group. The Adyge people, widely known as Circassians, populated most of the northwest and central Caucasus. The Kabardins were the most powerful and numerous people among the various subdivisions of the Adyge, and their territories, largely known as the Greater and Lesser Kabarda, occupied the central part of the North Caucasus. To the east there were clusters of the numerous village societies, later subsumed under the name Chechens; to the southeast were the Ingush, Ossetians, and Balkars.

Kabardin society, like that of the Kumyks, was highly differentiated. The hereditary nobility consisted of the members of the four princely families, the *pshi*, whom the Russian called princes, and the lesser nobility, *uork*, whom the Russians called *uzden*. Applying the term *uzden* to the Kabardins indicated Moscow's tenuous grasp of the social hierarchies of the different indigenous societies. The term, of Turkic origin, was a title of nobility among the Kumyks and other Turkic peoples (the Karachays and Balkars). The Kabardins and other Adyge peoples, however, did not use the term but instead carefully differentiated among the types of uorks.

It was only in the 1820s that the government began to realize the importance of the finer gradation of ranks among the Kabardin nobility. Even then, the subtleties of the indigenous social rules continued to elude the Russian authorities, as they attempted to systematize and divide the lesser Kabardin nobility into the *uzden* of four different ranks. To the Kabardins the new administrative language made little sense (Gardanov, 1967, pp. 180-182)¹.

Other peoples of the region, most notably the Abadzhekhs in the west and the Chechens in the northeast Caucasus, were organized into free

¹ The original social categories were often rendered incorrectly; see G. M.-P. Orazhev, (Orazhev, 1984, p. 182).

societies. Nineteenth-century Russian observers distinguished them from others by referring to them as democratic societies, which essentially were a cluster of villages or clans united by kinship, territory, and a mutual oath; the elders decided common matters in the council, and the most skillful fighters led others in raids and ambushes.

These free societies had little social differentiation and were essentially brotherhoods, alliances of communities bound by mutual oath, which the Russians translated as *sopriazhnichestvo* (cf. the Eidgenossenschaft of the early Swiss confederations). Among the Chechens, such brotherhoods were known as *tukkhum*, which consisted of a number of clans (*taips*). These alliances functioned as a way of adopting a fugitive individual into the local clan as well as cementing the ties among different clans, which formed complex co-fraternities (Gardanov, pp. 254-261; Mamakaev, 1973). The fiercely independent societies of the Chechens and western Adyges offered the most resistance to the Russians and, with no traditional elite to co-opt, proved hardest to subdue.

Like imperial conquests elsewhere, Russia's expansion into the region had begun with indirect rule: paying off the native elite and manipulating local factions in an effort to secure the political loyalty of the indigenous population. By the late eighteenth century the increasing presence of the Russian military, the arrival of the colonists, and a demand for Russian trade allowed for a shift toward direct rule over annexed lands and subjugated peoples.

In the early 1790s the government decided that the time had come to consolidate Russian rule by introducing a new system of courts and justice. Catherine the Great believed that military force alone was not enough to subdue the highlanders and that "the rule of law was the best way to soften and win over their hearts." In the nineteenth century some government officials continued to envision the cautious and phased transformation of native customs and laws as the only way "to achieve the desired moral and civil development of indigenous tribes." (Malakhova, p. 147; Maremkulov, p. 110; Kemper & Reinkowski, 2005)

In an attempt to introduce Russian legal and administrative norms, Russian authorities set up clan (*rodovoi*) and frontier courts. The clan courts, composed of members elected from the local nobles, notables, and some clergy, followed adat. Their decisions could be appealed to the frontier court at the frontier town of Mozdok, which included both native and Russian officials and was chaired by the Mozdok military commander. Ultimately, the frontier court was under the jurisdiction of and subordinate to the Astrakhan governor-general. Despite the token native representation in the courts, all major decisions were in the hands of Russian authorities.

The new court system functioned as intended by the government: a barely disguised tool of Russian domination.

It is likely that Russian authorities did not quite realize the full extent of damage that the new courts and laws would inflict upon Russia's relations with the native population. This court system effectively excluded the Muslim clergy and sharia courts from decision-making. Likewise, a series of measures severely circumscribed the traditional rights of the secular elites by requiring them to seek special permission to travel, to convene public meetings, or to offer refuge and hospitality to outsiders. In other words, the Russian government effectively antagonized both the religious and the secular elites.

With the courts' members turned into salaried officials and much of the secular elite bought off with military ranks and entitlements, the local population increasingly saw the clan and frontier courts as a vehicle of Russian colonization. Election to the clan courts was usually preceded by the deployment of Russian troops among the locals and could not have taken place without the threat of force (AKAK, 4:341, no. 1272).

In 1807, a series of insurrections in the midst of the continuous wars with the Persian and Ottoman empires compelled Russian authorities to replace the clan courts with *mahkeme* courts. Composed of native secular elite and Muslim judges (*qadi*), the mahkeme adjudicated cases mostly on the basis of sharia law and did not allow any appeal to Russian authorities. The emergence of the mahkeme signaled a temporary retreat from the government's goals of Russifying the region.

In 1822, continuing his "gradual but persistent conquest," Ermolov announced a new assault on Islamic institutions: the hajj, a pilgrimage to Mecca and Medina, was banned and the mahkeme courts were replaced with the Provisional Kabardin court. The new court included elements of adat, sharia, and Russian laws. Its members were no longer elected but appointed by Russian authorities. A surrogate legal and administrative body with the task of governing the Kabardins, the new court intruded into the Kabardin local affairs more than any previous Russian attempts at projecting imperial authority. But the court proved to be less provisional than Ermolov had intended. It survived until 1858, when it was replaced by a similarly hybrid court, now renamed the people's court, with better-defined judicial functions (Maremkulov, pp. 108–130; Malakhova, pp. 148–161; Kosven, 1964, p. 133).

Throughout this period, Russian authorities relied on an incomplete and fragmented knowledge of both adat and sharia. In 1841, the local military authorities proposed compiling the customary law of the peoples of the North Caucasus and translating it together with sharia into Russian. Four years later, the first of the adats were collected and annotated. In

1847, Captain M. Ia. Ol'shevskii, whose task was to systematize the adats of the North Caucasus, had to admit that his efforts were incomplete and some of his descriptions were likely to be erroneous. In 1849, another captain of the general staff in Tiflis, Baron K. F. Stahl, annotated a large body of the Adyge adats. Yet the progress of collecting adats was slow and continued into the 1860s. The administration's acquaintance with adat and sharia laws remained tenuous, and it continued to rely on the Russified local elite as its guide through the native legal realm (Leontovich, pp. 73-94).

Often at the core of many misnomas and misunderstandings was an issue of translation. One example may illustrate how the task of translation was further handicapped by political and religious considerations. During the visit of the Muscovite embassy to the Georgian tsar Alexander in 1596–99, it turned out that the Georgians could no longer translate letters from Moscow because the Georgian translator had died. The Georgians suggested to the Muscovite envoys that they have their missives interpreted into Turkish, and the Georgians would then transcribe them in the Georgian alphabet. The envoys replied that although their interpreters knew Turkish, they were illiterate and could not read Russian or Turkish, and therefore they could not translate. Moreover, the envoys declared that “the letters contain many wise words from the divine scriptures, but the interpreters cannot translate them because these words are not used in the Turkish language.” The Georgians continued to insist; the Russians continued to refuse, saying that it had never been done before, and one could not translate properly through three languages. In the end, the impatient Georgians suggested, “Then do not read the divine words, read to us only what concerns the substance of the matter and the interpreters will interpret that into Turkish.” On this they finally agreed (Belokurov, pp. 297-99). Contrary to what the Muscovite envoys claimed, translations “through three languages” were the only way to communicate with the natives and were used routinely until the mid-eighteenth century, when the Russian authorities learned to rely on natives with knowledge of Russian.

Apart from sheer incompetence or concerns for sensitive theological propriety, translations were further compromised by the deliberate efforts at misrepresentation and selective editing, so that, for instance, letters from the natives, often written to the tsar as an equal, had to be rendered in the form of a supplication to the Russian sovereign. Translators and their censors took great pains in trying to avoid precise translations whenever the original phrasing could possibly harm the dignity of the Russian monarch; they rendered them instead into acceptable political and diplomatic terminology. Available copies of translations often show numerous signs of editing. The corrections spelled out fully the title of the

tsar and introduced such polite expressions as “your royal majesty,” “the grand sovereign,” and others that were not mentioned in the original. Often the arrogant tone of a letter was changed, making it more humble and subdued (Khodarkovsky, 1992, p. 65).

Indeed, translations often deliberately misrepresented the issues. Most of the time the natives were not provided with a written copy of the documents they were expected to sign. Instead they had to rely on the Russian interpreters, who related the contents of the document to them. A contemporary Russian translator, Vasilii Bakunin, asserted that prior to 1724 the Kalmyks were not familiar with the contents of the treaties they had signed and that were regarded by Moscow as the Kalmyks’ oaths of allegiance. In contrast to earlier documents, which had been written in Russian with the tayishis’ signatures affixed to them, the document the Kalmyks signed in 1724 was written in Kalmyk and discussed among the Kalmyks in numerous meetings before they agreed to sign it (Bakunin, pp. 214-215).

Colonial Empire

I have argued elsewhere that Russia was a colonial empire in denial. The Russian government was unable and unwilling to separate the internal from the colonial functions and thus blurring the boundaries of the internal and external.

At the same time as officials in Petersburg refused to consider a notion of colony within the Russian empire, they continued to rule over numerous non-Christian peoples and regions through the various arms of the Ministry of the Foreign Affairs or the War Ministry. For example, throughout the nineteenth century, the empire’s Asian territories were administered by the Asiatic Department, founded by the imperial decree of April 19th, 1819 as a part of the Ministry of the Foreign Affairs. The Department was charged with dealing in “matters related to Asia and the Oriental non-Christian population” (*Upravlencheskaia elita Rossiiskoi imperii. Istoriia ministerstv, 1802-1917*, pp. 74-75)¹

The French too, among other European powers, ruled Tunisia and Morocco through the Ministry of the Foreign Affairs. But with the exception of Algeria, which was considered to be an integral part of France, Paris regarded its North African territories as protectorates and ruled them as such. Russia, by contrast, made no distinction between colonies and protectorates and considered all conquered lands as an integral part of the Russian empire (Ruedy, pp. 45-78).

¹ For more on the Asiatic Department and Asiatic Committee in the War Ministry, see Alex Marshall (2006, pp. 26-37, 176-77)

No wonder that denying the existence of colonies, Russia, of course, had to deny the existence of the colonial institutions as well. In reality, however, the Asiatic Department was similar to the colonial institutions of other European empires, which throughout the second half of the nineteenth century consolidated various colonial functions, previously dispersed among several government departments, into national Colonial Offices: the British Colonial Office, the French *les Ministere des Colonies*, the Spanish *Despacho Universal de Indias*, or the German *Kolonialamt*. Prior to the emergence of the Colonial Departments, most colonial functions were given to the Departments of Navy and War in Britain and France, and the Council of the Indies in Spain. The German example offers the closest parallel, where the colonial affairs were also run by the Colonial Department (*Kolonialabteilung*) within the German Foreign Office (*Auswärtiges Amt*) until it became separated into a Ministry of Colonial Affairs (*Reichskolonialamt*) in 1907. (Conrad, 2012; Steinmetz, 2007).

The absence of clearly defined colonial institutions in Russia was in some ways similar to the dispersal of the foreign and colonial administrative functions among Russia's imperial neighbors in Asia. Like Russia, the Qing China too considered all conquered territories as an integral part of its empire and communicated and ruled the frontier regions through multiple means: the civil and military bureaucracy, individual officials communicating in secret code directly with the court, and the office of *Lifan Yuan* in charge of relations with Mongolia, Tibet, and parts of southern China. The Ministry of the Foreign Affairs formally appeared in China for the first time in 1901. Likewise, the Ottoman Empire lacked any official office in charge of the foreign matters until the mid-nineteenth century. While *Re'is ül-küttab* (literally "the chief scribe"), the head clerk of the Imperial Council, *de facto* presided over the Ottoman relations with foreign powers, the government did not formally recognize his foreign affairs responsibilities until 1792. After the establishment of the Ottoman Foreign Ministry in 1836, the position of *Re'is ül-küttab* was finally given a new title of a Foreign Minister (*Hariciye Naziri*). Thus, it was only with the establishment of the western-style foreign ministries that the Qing and Ottomans would borrow and apply to their own experiences the western concepts of "an empire," "a civilizing mission," and by implication "a colony." (Patterson, pp. 209-11; Deringil, pp. 150-165; Inalcik, pp. 671-683).

The Russian empire faced similar dilemmas as other European empires in controlling and governing the territories populated by the non-Christians. From early on, however, Russia chose a different approach. Some Western European empires relied on the privately financed

companies to administer the colonies: the British and Dutch East India Companies operated in Asia, or the Hudson Bay Company in the North America, to mention a few well known examples. Others, like the Spanish and Portuguese, relied on a combination of state, church and private governance. By contrast, St. Petersburg put faith solely in the state administration of the new territories. The only exceptions were the short-lived charters given to the Stroganoff brothers to explore Siberia in the 1560s and to the Russian-American Company in Alaska, which was founded in 1799 as the first joint stock company in Russia to survive for two decades before being disbanded and put under the government control (Khodarkovsky, 2006, pp. 317-337; Vinkovetsky).

In short, while the colonial rule of most European empires evolved from the one administered by the private companies to the one placed under the control of the state in the nineteenth century, Moscow, similar to its imperial counterparts in Istanbul and Beijing, placed its colonies under a firm government control from the sixteenth century onward.

The tension between the colonial nature of the empire and the government's denial of the reality was obvious as early as the middle of the sixteenth century when Moscow first came into possession of the territories with a large non-Christian population. While *de jure*, Moscow considered the newly conquered non-Christian peoples as the tsar's subjects incorporated into his empire, *de facto* Moscow recognized the limits of its authority by governing the new regions and peoples through a series of colonial offices that combined military, diplomatic, fiscal, and administrative functions: the Kazan Office (Prikaz) created in the sixteenth century to run the lands in the south and east of Muscovy, specific chanceries of the Foreign Office in the seventeenth century (the Kalmyk and Siberian Offices), the Orenburg Frontier Commission to deal with the Kazakhs in the eighteenth century, and the Asiatic Department to address "the matters related to Asia and the Oriental non-Christian population" in the nineteenth century.

The history of Russian expansion into Asia is more than just a story of military conquest and colonization. It is also a story of the encounter between the worlds that were structurally incompatible: the world of the highly centralized empire-state and indigenous, kinship-based societies with rudimentary political organizations. In this sense, it is the story of a continuous learning process by both sides. Viewing the outside world through the prism of its own society, each side projected upon the other its own values and expectations. The fact that multiple clan, tribal, linguistic, and later ethnic identities in the region intersected in complex and poorly understood ways did not make communication easier. Thus, Russian government policies must be seen not only as a product of government

objectives and ideologies but also in the context of genuine and persistent mutual misperceptions.

In time, the Russian authorities became deeply involved in the power struggle within the native societies, taking sides, favoring some and antagonizing others, and providing financial and other incentives to the loyalists. In other words, the Russian state acted as a great disruptor of the traditional balance of power and eventually found itself in a position of a state and nation-building.

To rule its imperial subjects, the Russian government resorted to creating ethnic and national identities among them. The task of constructing ethnic identities fell on the Russified local elite and Russian scholarly and government officials. After all, ethnicity was a western concept brought from Russia. The ironies of the empire were often inescapable, as in a case of Shora Nogma, the Kabardin polymath from the North Caucasus. He was greatly influenced by A. J. Sjögren--an ethnic Finn educated at a Swedish gymnasium at the time when his homeland was part of Sweden and who later continued to write in Swedish. Shortly after Finland became annexed to the Russian empire in 1809, Sjögren became a conduit of the Western ideas in the Russian imperial periphery and was bestowed with the membership in the Russian Academy of Sciences. It was a Russified Swedish Finn who brought the modern ideas of ethnicity, philology, and historiography to the North Caucasus! (Khodarkovsky, 2012, p. 108)

By the early 20th century, Russia's relations with the indigenous peoples in Asia came full circle: from the initial imperial diplomacy intended to turn the natives into subjects, to Russia's rule over them through the newly-bred colonial elite, to the emergence of distinct ethnic identities among the subject peoples, and to their growing demands for autonomy or outright sovereignty. Like other empires, Russia too created its own numerous Frankensteins that appeared in the form of ethnic identities and that eventually help to undermine the very empire that created them.

References

- AKAK – *Akty sobrannye Kavkazskoiu arkheograficheskoiu kommissiei* (T. 4). (1870). Tiflis: Tip. Glavnogo upravleniia namestnika Kavkazsogo.
- ARAN – Rossiiskaia Akademiia Nauk. Arkhiv, F. 1714, op. 1, Novosel'skii, A. A., no. 66, l. 21.
- Bakunin, V. (1939). *Opisanie istorii kalmytskogo naroda. Krasnyi arkhiv: Istoricheskii zhurnal*(3), 189–254.

- Belokurov, S. L. (Ред.). (1889). *Snosheniia Rossii s Kavkazom. Materialy izvlechennye iz Moskovskogo Ministerstva Inostrannykh del, 1578–1613*. Moscow: Universitetskaia tip.
- Cherniavsky, M. (1959). Khan or Basileus: An Aspect of Russian Mediaeval Political Theory. *Journal of the History of Ideas* 20(4), 459-476.
- Conrad, S. (2012). *German Colonialism: A Short History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Deringil, S. (1999). *The Well-Protected Domains: Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire, 1876-1909*. London: I. B Tauris.
- Gardanov, V. K. (1967). *Obshchestvennyi stroi adygskikh narodov: 18-pervaia polovina 19 veka*. Moscow: Nauka.
- Inalcik, H. (1940-1986). *Reis-ül-Küttab, in Islam Ansiklopedisi 13 vols. (The Encyclopedia of Islam) (Vol. vol. 9)*. Istanbul: Maarif Matbaasi.
- Kazakhsko-russkie otnosheniia v 16–18 vv., no. 33*. (1961). Alma-Ata: Akademiia Nauk Kazakhskoi SSR.
- Kemper, M., & Reinkowski, M. (2005). *Rechtspluralismus in der Islamischen Welt. Gewohnheitsrecht zwischen Staat und Gesellschaft*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Khodarkovsky, M. (1992). *Where Two Worlds Met: The Russian State and the Kalmyk Nomads, 1600-1771*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Khodarkovsky, M. (2002). *Russia's Steppe Frontier: The Making of a Colonial Empire, 1500-1800 (T. 2)*. Bloomington, IN: Indiana University Press.
- Khodarkovsky, M. (2006). *Cambridge History of Russia, (Vols. 1, ch. 14)*. Cambridge UP.
- Khodarkovsky, M. (2012). *Bitter Choices: Loyalty and Betrayal in the Russian Conquest of the North Caucasus*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Kosven, M. O. (1964). *Etnografiia i istoriia Kavkaza: Issledovaniia i materialy*. Moscow: Vostochnaia literatura.
- Lapin, V. (2008). *Armiia Rossii v Kavkazskoi voine 18-19 vekov*. St. Petersburg: Evropeiskii dom.
- Leontovich, F. I. (1882). *Adaty Kavkazskikh gortsev. Materialy po obychnomu pravu Severnogo i Vostochnogo Kavkaza (repr., Nalchik: El-Fa, 2002 ed., Vol. 1)*. Odessa: Tip. P. A. Zelenago,.
- Malakhova, G. N. (2001). *Stanovlenie i razvitie Rossiiskogo gosudarstvennogo upravleniia na Severnom Kavkaze v kontse 18–19vv*. Rostov-na-Donu: SKAGS.

- Mamakaev, M. (1973). *Chechenskii taip v period ego razlozheniia*. Grozny: Checheno-Ingushskoe knizhnoe izd-vo.
- Maremkulov, A. N. (2003). *Osnovy geopolitiki Rossiiskogo gosudarstva na Severnom Kavkaze v 18– nachale 19 veka*. Nalchik: Elbrus.
- Marshall, A. (2006). *The Russian General Staff and Asia, 1800-1917*. London: Routledge.
- Orazaev, G. M. (1984). *Tiurkoiazychnye dokumenty iz arkhiva Kizliarskogo komendanta—Istochnik po sotsial'no-ekonomicheskoi istorii narodov Severnogo Kavkaza*. Moscow: Vostochnaia literatura.
- Patterson, G. C. (2006). *Asian Borderlands; The transformation of Qing China's Yunnan Frontier*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Possevino, A. S. (1977). *The Moscovia*. (H. F. Graham, Trans.) Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- RGADA, F. 248, op. 113, *Opis' del Sekretnoi Ekspeditsii Senata*, d. 1257, l. 14 ob.
- Ruedy, J. (2005). *Modern Algeria: The Origins and Development of a Nation*. Bloomington: Indiana University Press.
- Russko-dagestanskije otnosheniia 17–pervoi poloviny 18 vv., no. 96*. (n.d.). SIRIO – *Sbornik Imperatorskogo Russkogo Istoricheskogo Obshchestva* (T. 41). (1884). Sankt-Peterburg
- SIRIO –*Sbornik Imperatorskogo Russkogo Istoricheskogo Obshchestva* (Vol. 95). (1895). Sankt-Peterburg: A. Transhelya.
- Sokurov, V. (1999). Institut vyezda na sluzhbu u cherkesov. *El'brus*(Vipusk Kabardino-Balkarskogo istoriko-rodoslovnogo obshchestva), 116-117.
- Steinmetz, G. (2007). *The Devil's Handwriting: Precoloniality and the German Colonial State in Qingdao, Samoa, and Southwest Africa*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Upravlencheskaia elita Rossiiskoi imperii. Istoriia ministerstv, 1802-1917*. (2008). Sankt-Petersburg: Liki Rossii.
- Vernadsky, G. (1969). *A History of Russia* (6th rev. ed. ed.). New Haven: Yale University Press.
- Vinkovetsky, I. (2011). *Russian America: An Overseas Colony of a Continental Empire: 1804-1867*. Oxford: Oxford University Press.

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ НА ФРОНТИРЕ

БЕЛЫЙ ЦАРЬ И ЕГО «НЕНАДЕЖНЫЕ» ПОДДАННЫЕ: МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ НА АЗИАТСКОМ ФРОНТИРЕ РОССИИ

Ходарковский М.

Khodarkovsky Michael, Loyola University,
Crown Center 507, Chicago, IL 60660, USA
E-mail: mkhodar@luc.edu

Что такое Россия? Это "загадка, завернутая в тайну", как ее лихо описал британский премьер-министр Уинстон Черчилль? Государство, движимое "мессианским экспансионизмом" по мнению лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова? Цивилизация, застрявшая между апокалипсисом и революцией, по словам русского философа XX в. Николая Бердяева? Или это просто пространство, определяемое его огромными размерами, имперской идеологией, переплетенными культурами и сосуществующими цивилизациями?

В статье рассматриваются подходы российского правительства к построению отношений с различными нерусскими народами в период интенсивной экспансии России вдоль южного и восточного фронтиров. На протяжении веков Россия была больше озабочена геополитическими проблемами, чем коммерческими. С самого начала российские власти настаивали на кодификации дипломатическими средствами политического статуса нерусских подданных. Коренные народы, однако, воспринимали свои отношения с Россией через призму своих собственных обществ, которые демонстрировали значительные структурные отличия от российского государства. Воспринимая коренные народы через множество искаженных зеркал и собственную жесткую идеологию, российские власти последовательно отрицали колониальный характер того, что было, по сути, Российской колониальной империей. Тем не менее, подъем этнической и национальной идентичности среди нерусских народов внутри империи неизбежно разрушил те самые имперские структуры, которые помогли их создать.

Ключевые слова: фронтир, Россия, Кавказ, дипломатия, межкультурный диалог, колониальная администрация

Список литературы

- АКАК – *Акты собранные Кавказскою археологическою комиссиею* (Т.4) (1870). Тифлис: Тип. Главного управления наместника Кавказского
- АРАН – Российская Академия Наук. Архив. Ф. 1714, оп. 1, Новосельский, А.А., № 66, 1.21.
- Бакунин, В. (1939). Описание истории калмыцкого народа. *Красный архив: Исторический журнал* (3), 189-254
- Белокуров, С.Л. (Рел.). (1889). *Сношения России с Кавказом. Материалы извлечённые из Москововского Министерства*

- Иностранных лео, 1578-1613. Москва: Университетская типография.*
- Cherniavsky, M. (1959). Khan or Basileus: An Aspect of Russian Mediaeval Political Theory. *Journal of the History of Ideas* 20(4), 459-476.
- Conrad, S. (2012). *German Colonialism: A Short History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Deringil, S. (1999). *The Well-Protected Domains: Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire, 1876-1909*. London: I. B Tauris.
- Гарданов, В.К. (1967). *Общественный строй адыгских народов: 18-первая половина 18 века*. Москва: Наука.
- Inalcik, H. (1940-1986). *Reis-ül-Küttab, in Islam Ansiklopedisi 13 vols. (The Encyclopedia of Islam) (Vol. vol. 9)*. Istanbul: Maarif Matbaasi.
- Казахско-русские отношения в 16-18 вв., ном. 33 (1961)*. Алма-ата: Академия Наук Казахской ССР.
- Kemper, M., & Reinkowski, M. (2005). *Rechtspluralismus in der Islamischen Welt. Gewohnheitsrecht zwischen Staat und Gesellschaft*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Khodarkovsky, M. (1992). *Where Two Worlds Met: The Russian State and the Kalmyk Nomads, 1600-1771*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Khodarkovsky, M. (2002). *Russia's Steppe Frontier: The Making of a Colonial Empire, 1500-1800 (T. 2)*. Bloomington, IN: Indiana University Press.
- Khodarkovsky, M. (2006). *Cambridge History of Russia*, (Vols. 1, ch. 14). Cambridge UP.
- Khodarkovsky, M. (2012). *Bitter Choices: Loyalty and Betrayal in the Russian Conquest of the North Caucasus*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Косвен, М..О. (1964). *Этнография и история Кавказа: Исследования и материалы*. Москва: Восточная литература.
- Лопин, В. (2008). *Армия России в Кавказской войне 18-19 веков*. СПб.: Европейский дом.
- Леонтович, Ф.И. (1882). *Адаты кавказских горцев. Материалы по обычному праву Северного и Восточного Кавказа (репр., Нальчик: Эл-Фа, 2002 ред., Том 2)*. Одесса: Тип. П.А. Зеленаго.
- Малахова, Г.Т. (2001). *Становление и развитие российского государственного управления на Северном Кавказе в конце 18-19 вв*. Ростов-на-Дону: СКАГС.
- Мамакаев, М. (1973). *Чеченский таип в период его разложения*. Грозный: Чечено-Ингушское книжное изд-во.

- Маремкулов, А.Н. (2003). *Основы геополитики Российского государства на Северном Кавказе в 18 - начале 19 века*. Нальчик: Эльбрус.
- Marshall, A. (2006). *The Russian General Staff and Asia, 1800-1917*. London: Routledge.
- Оразаев, Г.М. (1984). *Тюркоязычные документы из архива Кизлярского коменданта – Источник по социально-экономической истории народов Северного Кавказа*. Москва: Восточная литература.
- Patterson, G. C. (2006). *Asian Borderlands; The transformation of Qing China's Yunnan Frontier*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Possevino, A. S. (1977). *The Moscovia*. (H. F. Graham, Trans.) Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- РГАДА, Ф. 248, оп. 113, *Опись дел Секретной Экспедиции Сената*, д. 1257, л. 14 об.
- Ruedy, J. (2005). *Modern Algeria: The Origins and Development of a Nation*. Bloomington: Indiana University Press.
- Русско-дагестанские отношения 17 – первой половины 18 вв., ном. 96* (н.д.)
- СИРИО – *Сборник Императорского Русского исторического Общества* (Т. 41). (1884). СПб.
- СИРИО – *Сборник Императорского Русского исторического Общества* (Т. 95). (1884). СПб.
- Сокуров, В. (1999). Институт выезда на службу у черкесов. *Эльбрус (Выпуск Кабардино-Балкарского историко-родословного общества)*, 116-117
- Steinmetz, G. (2007). *The Devil's Handwriting: Precoloniality and the German Colonial State in Qingdao, Samoa, and Southwest Africa*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Управленческая элита Российской империи. История министерств, 1802-1917* (2008). СПб: Лики России
- Vernadsky, G. (1969). *A History of Russia* (6th rev. ed. ed.). New Haven: Yale University Press.
- Vinkovetsky, I. (2011). *Russian America: An Overseas Colony of a Continental Empire: 1804-1867*. Oxford: Oxford University Press.

СЕМАНТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ОБРАЗОВ ИНДЕЙЦА В НОВОЙ АНГЛИИ В XVIII В.¹. ЧАСТЬ 2.²

Якушенков С.Н.

Якушенков Сергей Николаевич, Астраханский государственный университет
Астрахань, 414056, ул. Татищева 20А.
E-mail: shuilong@mail.ru

Статья продолжает анализ семантики образов коренных американцев в общественном дискурсе Новой Англии в XVIII в. Основной упор в этой статье сделан на становления в Новой Англии особой культуры американской интеллигенции, создававшей свою секулярную среду в противовес культуре религиозной. Это общество, названное автором обществом «изящной словесности», вынуждено было существовать в жестких рамках религиозных ограничений. Единственным местом, где сохранялись островки свободной мысли были таверны или места, расположенные за пределами города. Одним из таких мест стала Колония в Скукле, представлявшая собой сообщество охотников и рыболовов. Как и объединения, формировавшиеся в вокруг таверн, это было общество гедонического типа. Именно в рамках тенденций «общества спектакля» (по Ги Дебору), подобные объединения создавали свою культуру застолий, парадов и массовых мероприятий. В Новой Англии формирование новой культуры проходило в рамках «нативизации», т.е. включение в новую культуру элементов традиционных культур коренных народов. Активную роль в формировании новой гибридной культуры начинают играть такие этнические компоненты как ирландцы, шотландцы, валлийцы, которые в рамках политической парадигмы, оказываются в противостоянии к британской администрации и пытаются создать новую систему политических и культурных отношений. В рамках определенных паттернов идеологии квакеров, нацеленных на мирное сосуществование с коренными народами, включение в новую культуру имен, связанных с квакерской историей Пенсильвании, начинает играть особую роль. В результате этого выстраивается определенная линия преемственности владения землей в Новом свете, полученная новым населением колонии не от Британской короны, а от индейских вождей, чей образ начинает играть заметную роль в формировании новой светской культуры общества спектакля.

Анализ всех этих процессов проводится в рамках концепции мимикрии, выдвинутой Х. Бхабхой, Лаканом и др. Кроме этого были использованы концепции А. Рамы о существовании особой культурной среды в Новом Свете, а также подходы Г. Дебора.

Ключевые слова: Образ индейца, Чужой, враг, коренные американцы, Новая Англия, Пенсильвания, гибридность, мимикрия, Колония в Скукле, город изящной словесности.

¹ Работа выполнена по государственному заданию No 35.6373,2017/БЧ «Построение модели функционирования традиций и инноваций в пространстве фронта».

² Статья является продолжением статьи, напечатанной в «Журнале фронтальных исследований» в 3-м номере за 2017.

*«Таменунд возвысил свой голос.
– Довольно! – сказал он. – Ступайте, дети
ленапов, гнев Маниту еще не иссяк! Зачем
оставаться Таменунду? Бледнолицые – хозяйева
земли, а день краснокожих ещё не настал. Мой
день был слишком долг. В утро моей жизни я
видел сынов Унамис счастливыми и сильными, а
теперь, на склоне моих дней, дожил до того,
что видел смерть последнего воина из мудрого
племени могикан!»* Ф. Купер «Последний из
могикан».

*«Что это за таинственная странность в
психологии американца, которую другие народы
не могут понять? И как мы ее приобрели?»*
(Norwood, p. 10)

*«Воистину здесь происходит искушение
пространством»* Р. Кайуа (Кайуа, 2003, стр. 96)

В предыдущей части мы говорили о некоторых образах индейцев в Новой Англии в XVIII в., к которым прибегали колонисты для достижения своих особых целей. Анализируя различные исторические события, в которых белые участники неожиданно старались представить себя индейцами, мы обнаружили самый разнообразный спектр скрытых смыслов – от ненависти к индейцам, до сочувствия им. В ряде случаев образ индейца использовался для выражения своего негативного отношения к происходящим событиям или для особой (территориальной, культурной и политической) идентичности, отличающей американцев от британцев. Особенно ярко это проявилось в политической и экономической борьбе колонистов за свои права.

Первую часть мы намеренно остановили на примерах использования образа индейца в политическом контексте. И одним из наиболее ярких примеров такого использования образа индейца было общество Св. Таммани («Сыны Св. Таммани»), связанное с именем легендарного вождя племени делаваров (ленапе) Таманенда.

Первое достоверное упоминание об этом вожде относится к 1683 г., когда он уступил У. Пенну часть земель индейцев ленапе. В архивах Пенсильвании имеется и документ от 2 июня 1684 г., скрепленный его знаком (Cabeen, 1901, p. 433). Встречаются и более

поздние упоминания о нем в документах 1692, 1694, 1697-8 гг.. Вероятно, умер он в начале XVIII в. Но вторую жизнь он обрел где-то в 30-е гг. XVIII в.. Связано это было с таким общественным объединением как Колония в Скукеле¹ (Colony in Schuylkill, Schuylkill Fishing Company).

Эта колония, а точнее общественное объединение рыболовов и охотников (Рыболовецкая компания Скукела) образовалось в 1732. Своей штаб-квартирой она избрала местечко недалеко от Филадельфии на реке Скукел, неподалеку от земельных владений, принадлежащих самому У. Пенну. Изучая историю Колонии Скукеле (далее просто Колония), невольно задаешься вопросом о причинах, побудивших организаторов этой колонии обратиться к индейской тематике. Доступные историкам документы, связанные с колонией, указывают на некоторую карнавальность или гротеск, сопровождавший это общество. Свой клуб они объявляют штатом, выбирают губернатора, шерифа, советников, коронера и т.д. Дом, в котором размещается их штаб-квартира, они именуют замком. Свои рыбацкие лодки они называют флотом, а войну объявляют кроликам, белкам и фазанам (Milnor, pp. 5-6).

Однако, при всей их маскарадности, их иронии, даже издевательской гротескности, не стоит недооценивать их роль в распространении образа коренного американца как символа сакральности и мудрости. Колония в Скукеле была одной из самых старейших общественных организаций в мире. В значительной мере она была своеобразным знаком взросления гражданского общества, символом зарождения новой американской культуры. Колония – это удивительное сочетание молодых английских гражданских институтов, совмещенных с американским колоритом, если так можно выразиться, нативизация британской культуры в рамках нарождающегося американского культурного ландшафта. Эта организация (пусть даже с претенциозным названием State in Schuylkill) явилась своеобразным вызовом гомогенной социально-культурной системе, выстраиваемой на Американском континенте.

Колония – это не только про индейцев или про «игры в индейцев», это интереснейший и многогранный эпизод в истории США. В создаваемом культурном ландшафте Пенсильвании удивительнейшим образом переплетались самые различные культурные традиции: английские, немецкие, шотландские и ирландские. Каждая этническая группа пыталась заявить о себе,

¹ Хотя нередко это название передают на русском как Скулкилл, мы используем местный вариант произнесения этого топонима.

сохранить свою культурную самобытность, но тут же трансформировалась в нечто новое. Если в начале истории Пенсильвании основной группой были квакеры, то в начале XVIII в. к ним добавились и другие группы: немцы (из Пфальца, the German Palatines), ирландцы и шотландцы. В 1722 г. на западном пенсильванском фронтире были основаны ирландцами и шотландцами города Донегал (Donegal) и уже упоминаемый нами Пакстон. К концу 20-х гг. XVIII в. численность шотландцев и особенно ирландцев возросла во много раз. Общее число ирландцев и шотландцев (5655 и 43) более чем в десять раз превышало численность квакеров и немцев (267 и 243 соответственно) (The Society of the Friendly Sons of St. Patrick, p. 12). Правда, численность ирландцев в Филадельфии была не столь значительна, но все же весьма ощутима. И шотландцы, и ирландцы были носителями особых культур, разительно отличавшихся от квакеров и немцев. Немцы, которых нередко называли «бедными пфальцами» (the poor Palatines), были действительно очень бедным населением, бежавшим со своей родины в поисках лучшей жизни. Новая культурная ситуация не столь заботила их, как ирландцев, шотландцев, да и англичан, не являвшихся членами Общества Друзей (квакерами). Накал противостояния был очень велик, что нередко выливалось в серьезное противодействие властям. Если последние собирались в городских советах и молитвенных домах, то их противники в тавернах и постоялых домах. В 1702-1704 гг. между секулярно настроенной молодежью и квакерами разгорелась самая настоящая война, в которой, как ни странно, оказался замешан даже сын У. Пенна Билли Пенн (Shields, 1994, p. 301). Молодежь секретно собиралась в гостинице «Оловянная тарелка» (Pewter Platter Inn), где была приличная еда и разнообразная выпивка.

В Филадельфии создавалась сложнейшая ситуация: с одной стороны, квакеры осуждали выпивку и были против излишеств в еде, но с другой, Пенн не мог не понимать, что в Пенсильвании есть огромное число приехавших, кто не является квакерами, и помимо прочего, не имеют и собственного жилья. Некоторые прибывшие в Филадельфию жили в землянках, вырытых ими на склонах берега р. Делавер. Им нужно было питаться, они любили выпить. Потребление крепких алкогольных напитков играло важную роль в повседневной культуре жителей Пенсильвании (Thompson, 1989).

Все это приводило к тому, что питейные заведения и постоялые дворы приносили большие прибыли их хозяевам. Горожане Филадельфии нуждались в альтернативной культуре, отличающей их от повседневной культуры квакеров. Особую роль в этом играли этнические объединения, которые, правда, часто из этнических быстро

превращались в объединения по интересам. Кому-то может показаться, что описываемое нами не имеют отношения к анализируемому нами феномену. Напротив, они напрямую связаны. То, что позднее происходило в начале XVIII в. в Филадельфии, представляло собой целостную систему, в которой формировалась новая американская светская культуры. Новые элиты пытались осознать себя, выстраивали свою культуру, отдаляясь от традиционной религиозности. Конечно, не стоит считать, что данный процесс являлся исключительно американским. Во многом филадельфийская элита подражала британской, особенно лондонской, с ее стремлением обособления, секуляризации, или напротив, уходом в секретные общества, закрытые клубы и т.д. То, что в этом процессе особую роль начали играть уэльсцы, шотландцы и ирландцы, тоже нет ничего особенно. Своими организациями они выражали протест (культурный, политический и религиозный) англиканской церкви.

На новом континенте они обретали новую свободу, выражавшуюся в новых моделях поведения. Как правило, все это находило свое выражением в стремлении к свободе высказывания, иронии, сатире и гротескным эпикурейством, что находило свое выражение в особом поведении, которое дало повод Александру Гамильтону (одному из создателей подобного клуба) назвать свои друзей «филогастрами» – любителями чревоугодия (Shields, 1994, p. 295). Это были философы и филогастры, заядлые театралы и любители музыки. Карнавальность и театральность становились особой визитной карточкой их мира, который они создавали.

В их культуре избыточность (чревоугодие, праздное время препровождение рассматривались как порок в квакерской среде) и высокая духовность сочетались друг с другом. Их карнавальность (потешность) была своеобразным протестом против «официальной» культуры колонии. Это была попытка сохранить свою частную жизнь, свою независимость и свободомыслие, обрядившись в особые одежды. Новое и старое, серьезное и ироничное тесно переплетались друг с другом, образуя причудливое сочетание. Как пишет Д. Шилд «Клубы предотвращали вмешательство в свои дела, распространяя публичную информацию о себе. Два способа преобладали: один отличался символикой, которая проецировала невинность и благотворительность частного общества; другой передавал символику легкомыслия, которая выражала дерзость, смехотворность и тривиальность частного общества» (Shields, 1994, p. 295).

Все эти черты и нашли свое отражением в новых общественных организациях, которые теперь возникали не на базе городских таверн и питейных заведений, а выходили за пределы города, на просторы

лесов и на берега рек. Подобными клубами были Рыболовецкая компания Скукле (1732) и Компания Форта Св. Давида (1747 или 1750). Оба клуба интересны для нас, так как они находились в живописных местах на р. Скукле, позиционировали себя связанными с коренными американцами и старались всячески это подчеркивать. Кроме этого оба клуба были объединениями по интересам – клубом рыболовов и охотников.

Итак, снова вернемся Колонии на Скукле, на которой мы закончили повествование предыдущей части и с которой начали вторую часть. История этого объединения наиболее показательна и интересна.

Компания на Скукле и другие подобные клубы представляли собой новую тенденцию построения колониальной культуры, колониального города. Эта ситуация была обозначена знаменитым уругвайским писателем как «Ciudad Letrada» (Город Букв)

В пространстве колонии существуют как бы два города, точнее две модели города «Ciudad ordenada» – (Город порядка, упорядоченный город) и «Ciudad Letrada» (Город интеллектуальной культуры). Мы далеки от того, чтобы проводить аналогии в процессах формирования городов в Латинской Америке и в колониях Новой Англии, однако, как нам кажется, имеется множество совпадений, которые позволяют перенести выводы и замечания, сделанные Анхелем Рамой на основе изучения колониального города в Новой Испании, на города Новой Англии. «Город упорядоченный» – это город власти, идеальный город, город-мечта. И под это определение Филадельфия («Город братской любви») подходит как нельзя лучше. Основанная и построенная религиозными мечтателями, она как бы воплощает некий идеал, подобный тому, что пуританский проповедник Джон Уинтроп назвал «Город на холме», призвав своих последователей на корабле Арабелла, отъезжавшего в Новый Свет 29 марта 1630 г., построить там новую модель христианского города. Достаточно взглянуть на карты Филадельфии XVIII в. чтобы убедиться, насколько упорядоченным городом она была, представляя собой почти идеальный прямоугольник, поделенный на практически ровные участки.

Город Букв¹ – это город философов, юристов, теологов, художников, писателей, изобретателей, людей профессии и т.д. Это город Александра Гамельтона, Бенджамина Франклина, Джеймса

¹ Для Новой Англии мы бы использовали другой термин – City of Belles Lettres, что можно было бы условно перевести как «город изящной словесности», хотя на самом деле труды американских авторов часто не совпадали с этим понятием, так как относились к сатире, юмору и т.д.

Логана, Джона Бартрама, которого Карл Линней назвал величайшим ботаником в мире, и им подобным. Известный американский историк Карл Бриденбо (Carl Bridenbaugh, 1903-992), специалист по колониальному городу, обратил внимание на этот процесс еще в 30-х гг. XX в.: «Александр Гамильтон замечал, что в Филадельфии «не было недостатка в людях ученых и с хорошим вкусом», и непрофессиональный интерес к изящной словесности (*belles lettres*) и классике там превалировал, чем в любом другом городе. Исаак Норрис и Джон Кинси были квакерами, а доктор Томас Кэдуолладер, Бенджамин Франклин и Томас Мейкин были хорошо начитаны в античной литературе» (Bridenbaugh, p. 457).

Эти два города соперничают друг с другом, конкурируют и даже враждуют. Упорядоченности группы, секты противостоит город высокоинтеллектуальных индивидов, стремящихся к своему выражению, непохожести, созидательному хаосу. Скромности и сдержанности в одежде, еде, чувствах противостоит изысканность, изобилие, чревоугодие, театральность.

Правда «город букв» Латинской Америки (Мехико, Лима и т.д.) отличался от Филадельфии или Бостона Новой Англии. По мнению Анхеля Рамы, «*Ciudad Letrada*» берет свое начало в Мехико с 1572 г., с прибытием туда иезуитов (Rama, p. 16). Именно они создают этот новый тип городских отношений, формируя нового человека. Прибывшие в Новый Свет иезуиты нашли там особую ситуацию. В столице было множество молодых людей, погрязших в лени, изобилии богатств их отцов, что еще больше усугублялось идеальным климатом. Как писал о них один из иезуитов Хуан Санчес Бакеро, «они выросли в роскоши домов их отцов, убаюканные идеальным климатом и постоянной праздностью» (цит. по Rama, 1996 p. 17).

В Североамериканских колониях ситуация была иной, здесь не было ученых иезуитов, да и отпрысков богатых родителей тоже было не так уж много, хотя без них не обходилось. Мы уже писали, что даже сын Пенна был арестован за неподобающее поведение. Люди Буквы в Пенсильвании были совершенно иными в отличие от испанских или португальских колоний. Это были люди дела, добившиеся много своим трудом, приумножившие свое состояние в Новом Свете. И здесь они стремились получить от жизни все. Как метко заметил американский историк У. Кронон «Очень быстро люди изобилия превращались в расточителей» (*people of waste*) (Cropon, p. 170).

Правда, говоря о Колонии на Скукеле и ее «тяге» к культуре коренных американцев необходимо помнить следующее: образование Колонии было приурочено к приезду в Филадельфию Томаса Пенна,

сына основателя колонии Уильяма Пенна. (Smith-Rosenberg, 2012, p. 193). С этой целью был построен рыбацкий павильон, разработанная сложная система ритуалов, да и Пенна ждало самое настоящее представление, в котором участники представляли себя сыновьями индейского вождя делаваров Таманенда, который был одним из тех, кто уступил Пенну часть земель своего племени. Встреча сына основателя колонии превращалась в изысканный спектакль. Члены Компании надевают индейские костюмы, говорят с использованием индейских слов, украшают свой павильон индейскими предметами, а своеобразным лозунгом их организации становится фраза, якобы приписываемая Таманенду «Kawania Che Keeteru» – «Это мое право, и я буду защищать его».

Правда, сложно сказать, был ли этот лозунг где-то записан в официальных документах Колонии. Этот лозунг получил широкую известность по найденной пушке, которую члены колонии приобрели на свои деньги и подарили властям Пенсильвании в 1747 г. пушку, на которой и был выбит этот лозунг (Brogden, p. 214). Учитывая тот факт, что Колония выступала, как частное лицо, а тяжелые орудия не изготавливались в Североамериканских колониях, можно смело предположить, что пушка изготавливалась уже с лозунгом, то есть тщательно продумывалась. События конца 40-х гг. XVIII в.¹, хотя в значительной мере и не касались Пенсильвании, однако, порождали серьезные опасения среди колонистов. Все ждали и готовились к войне с французами и индейцами.

Мы так подробно описываем этот, казалось бы, несущественный момент исходя из того, что нередко индейская символика, использованная в подобных случаях, обозначается некоторыми американскими авторами как суррогатная (MacGregor, 1983). Уже упомянутая нами К. Смит-Розенберг также определяет подобную ситуацию как суррогатную идентичность (Smith-Rosenberg, 2004).

Надпись на пушке, купленной в Англии членами Колонии, все-таки свидетельствует о том, что члены этого клуба относились ко всему происходящему очень серьезно. Использование индейской символики не были для них простым развлечением. Во всем этом были задействованы более глубинные механизмы. Правда, мы не будем активно возражать против использования термина «суррогатность». Все это действительно происходило на грани

¹ Война короля Георга ((1744—1748) – Война за австрийское наследство, в которой Великобритания сражалась с Испанией и присоединившейся к ней Францией. Французские войска вместе со своими индейскими союзниками терроризировали приграничные поселения британских колоний.

суррогатности. Но «суррогат» – это лишь условное слово, за которым может скрываться все, что угодно. В некотором роде надпись на пушке была суррогатом. Как установил большой знаток ирокезских языков Горацио Гэйл (Horatio Emmons Hale), лозунг «Kawania Che Keeteru» был заимствован вообще не из языка делаваров, а ирокезов, и представлял собой искаженное «Keweniio tsi kiteron» – «Я хозяин того места, на котором нахожусь» (Hale, p. 27). Учитывая контекст надписи, вряд ли можно было бы придумать более удачный лозунг или название для пушки, призванной защищать и контролировать то место, на котором она находится. И пусть для современного читателя или ученого этого не более чем странная причуда, для жителя Пенсильвании французская и индейская угроза была более чем осязаема. Выбор индейской фразы – это уже не суррогат, а вполне очевидное стремление к новой идентичности. На фронтальной территории сложно сказать, где заканчивается трансгрессия и начинается симулякр. Когда в апреле 1786 г. прославленный вождь индейцев сенека посетил Филадельфию его встречали «белые индейцы» – сыны Св. Таммани, одетые в индейские одежды. Жители Филадельфии исполнили для него танцы войны и мира, устроили для него угощения, среди которых были и блюда, приготовленные на индейский манер: «Каждая сторона воспринимала другую всерьез, ели, произносили речи, пели и танцевали вместе на индейский манер – и все вполне публично» (Abrahams, p. 179).

Еще раньше в 1755 г. другое подобное общество Пенсильвании, получившее название Рыболовной компании Форта Св. Дэвида, принимало в Филадельфии вождя мохоков по прозвищу Король Хендрика (Hendrick Theyanoguin, 1691-1755), приехавшего Пенсильванию для подписания договоров с белыми. И хотя компания Форта Св. Дэвида не имела никакого отношения к этому визиту, тем не менее они играли одну из ключевых ролей в приеме вождя. Члены компании Форта Св. Дэвида даже собрали пятнадцать тысяч фунтов стерлингов для помощи мохокам (Shields, 1997, p. 197). В дальнейшем члены Форта Св. Дэвида постоянно подчеркивали свою связь с мохоками, убранство их форта было во многом подчеркивало эту связь. Стены помещений были декорированы индейскими предметами: оружием, трубками, украшениями и т.д. Компания постоянно подчеркивала, что они ассоциируют себя с племенем мохоков, а враги мохоков являются и их врагами. Председательствующий на собрании членов этого клуба нередко облачался в костюм индейского вождя (Watson, p. 374).

Все это создавало удивительную культурную ситуацию: и колония Скукеле, и компания Форта Св. Дэвида состояла из

переселенцев из Уэльса, Шотландии и Ирландии. Не исключено, что, выражая свою связь с коренными американцами, они как бы противопоставляли себя англичанам (Shields, 1997, p. 197). Все это особенно интересно с учетом того факта, что все это происходит в период, когда индейская угроза была не символическим, а реальным фактом на западных территориях Пенсильвании. Действия «Пакстонских мальчиков» являются убедительным примером того, как в этот период складывались отношения белых колонистов с индейцами. Мы уже писали в первой части, что подобные группы «мальчиков» как правило, состояли из ирландцев и шотландцев. Да и название своих групп «boys» они позаимствовали от тайных организаций на своей родине.

Таким образом, с одной стороны, мы видим шотландские и ирландские волонтерские организации, которые готовы были резать индейцев, снимать с них скальпы и убивать даже женщин и детей, а с другой, клубы интеллектуалов и профессионалов, выражавших свои симпатии к индейцам, граничившие со стремлением подражать им.

Все это ставит перед исследователями ряд вопросов о причинах такого разброса в семантическом поле этих символов. Мы уже упоминали, что американская исследовательница Р. Грин полагает, что эта «игра в индейцев» есть способ вытеснения коренных американцев из культурного и исторического поля, некая форма геноцида. Попытка замещения тех, кого уже уничтожили (Green, p. 31). Но так ли, это? Хотя, как правило, коренные американцы и упрекают белых американцев, что они «эксплуатируют» их культуру, используют в своих целях образы индейцев, но, как нам кажется, это лишь отчасти верно. По нашему мнению, в этом феномене, или возможно целом ряде смежных феноменов, мы сталкиваемся со сложной проблемой, которая еще далека от полного разрешения. Проблема эта заключается в обращении к образу Чужого, которое проявляется в самых разных вариантах. Заимствование чужой культуры, использование образа Чужого является универсальным феноменом, характерным для все стран и народов мира. И свести все эти варианты лишь к функциям вытеснения или эксплуатации – значит упрощать данную проблему. Как нам кажется, феномен гораздо сложнее и представляет собой лишь частный случай коммуникации с Чужим, встраивания символа Чужого в свою культуру (Романова, Хлыщева, Якушенков, & Топчиев, стр. 18-26). Конечно «потребление» Чужого играет не последнюю роль в этом процессе. Как правило, заимствование различных элементов культуры коренных американцев происходило уже с первых моментов культурного диалога европейцев с коренными американцами. Все это очень хорошо подметил Тёрнер:

«Дикая местность подчиняет себе колониста. Он приходит туда европейцем – по одежде, трудовым навыкам, рабочим инструментам, способам передвижения, мыслительным привычкам. Дикая местность выводит колониста из железнодорожного вагона и сажает его в каноэ из березовой коры. Она срывает с него цивилизованную одежду и облачает в охотничью куртку и мокасины. Она селит его в бревенчатой хижине индейцев чероки и ирокезов и окружает это жилище индейским частоколом. Очень скоро колонист начинает сеять кукурузу, пашет землю заостренной палкой; он издает боевой клич и, следуя устоявшейся индейской традиции, снимает скальпы. Короче говоря, вся обстановка фронта на первых порах оказывает слишком сильное воздействие на колониста. Он должен либо принять все предъявляемые условия, либо погибнуть, и вот он приспосабливается к жизни на расчищенных туземцами лесных полянах и крадется по индейским тропам. Шаг за шагом он преобразует дикую местность, но то, что возникает в результате, – это не старая Европа, не просто развитие германских вирусов... Дело в том, что появляется новый, американский продукт» (Тернер, стр. 15). Мы уже писали о том, как русский переселенец меняет в Сибири свою культуру, как встраивается в новый культурный и природный ландшафт под влиянием местных условий (Якушенков & Якушенкова, 2016). Из зарубежных работ мы бы хотели порекомендовать на эту тему работу американского руссиста У. Сандерленда (Sunderland, 1996). Но тот феномен, который мы анализируем в данной работе, не является аналогом того процесса «натурализации», или как в XIX в. в России это называли «об'инородчиванием». В англоязычной литературе, как правило, для обозначения этого процесса употребляется термин «нативизация» (nativization) или описательное «going native». Правда, у термина «нативизация» более широкое поле для употребления, и не всегда он обозначает то, явление о котором говорим мы.

Вместе с тем, мы должны понимать, что ни «Бостонское чаепитие», ни другие антианглийские выступления, в которых участники рядились в индейцев, не может являться аналогом нативизации. Хотя мы и не исключаем, что возможно эти факты могут являться каким-то крайним вариантом подобных действий. При нативизации нет нужды для перевоплощения, превращения своих действий в спектакль. Недаром Ф. Делория, да и Р. Грин называют эти факты «играми в индейцев» (Deloria, 1998) (Green, 1988). Спектакль, в котором участвуют «актеры» не является аналогом их жизни, они лишь на время рядятся в чужие одежды, становясь Другими. Но после окончания спектакля (драмы, комедии или трагедии) они возвращаются к своим первоначальным образам. Играть в индейца и

жить жизнью индейца не является одним и тем же актом. Правда, нередко актер забывает свое истинное лицо и его роль становится его «настоящей» жизнью. Американская история знает немало фактов, когда «имитация» индейской жизни вытесняла первоначальный культурный слой, что в конечном итоге приводило к смене идентификации. Типичным примером подобного может служить жизнь канадца (англичанина по рождению) Серая Сова¹ (1888-1938). В меньшей степени к подобным случаям можно отнести и примеры с ложной идентичностью таких персонажей, как Iron Eyes Cody, Chief Thundercloud, Chief Buffalo Child Long Lance, Manitonquat (Francis Story Talbot), Nasdijj (Timothy Patrick Barrus), Gerald Vizenor и многие другие.

В попытках понять описываемый феномен американский социолог К. Смит-Розенберг обращается к такому тропу колониального дискурса как мимикрия. Правда, она замечает, что она «использует этот термин с двойной долей иронии» (Smith-Rosenberg, 2012, р. 193). К. Смит-Розенберг была одним из первых исследователей этого феномена, кто попытался привлечь определенную теоретическую базу для анализа этого феномена. Основываясь в своем понимании мимикрии в подходе к этому вопросу на идеях такого видного классика постколониальной теории как Х. Бхабха, она полагает, что в вопросе имитации «индейца» мы сталкиваемся с колониальной мимикрией. С точки зрения и К. Смит-Розенберг (2012, р. 193), и Х. Бхабхи (Bhabha, pp. 113-114; 118-121) мимикрия – всего лишь имитация, и в этом процессе имитатор уступает оригиналу. Для Бхабхи, который в своем понимании мимикрии следовал Ж. Лакану, мимикрия была своеобразным атрибутом гибридности. Колониальная/постколониальная гибридность для него были способами адаптации к колониальному дискурсу. С помощью мимикрии культурный гибрид, являющийся своеобразным продуктом колониальной системы, пытается встроиться в культурный ландшафт колонии, подстроиться под культурные паттерны колонизатора. Для Бхабхи мимикрия, как инструмент гибридности, – способ избежать критического сценария, постулированного Ф. Фаноном: «Стань белым или исчезни» (Fanon, p. 100). В своем анализе мимикрии Бхабха как бы находится посередине между Лаканом и Фаноном. Мимикрия, в его понимании, способ постулирования власти. Правда, Бхабха не берет во внимание классификацию мимикрии, которую разбирает Лакан, основываясь на подходе французского

¹ Настоящее имя Арчибальд Стэнсфелд Билэйни (Archibald Stansfeld Belaney).

социолога Роже Кайуа (Roger Caillois): травести, камуфляж, устрашение (Лакан, стр. 110).

Как нам кажется, это разделение мимикрии на подвиды очень важно для понимания феномена «игр в индейцев» колонистами на Американском континенте. «Игра в индейцев» на Американском континенте не может быть понята в рамках лишь одного мотива. Каждый раз эта «игра» разворачивается по своему сценарию, и герои этого «спектакля» отличаются друг от друга. Конечно, мы должны понимать, что не следует это деление на травести, камуфляж и устрашение понимать, как однозначно заданное и не имеющее каких-то промежуточных вариантов. Это означает, что каждый раз эта «игра» может выступать в сочетании с другими формами «имитации», Р. Кайва выделяет несколько подобных вариантов: агон, алеа (жребий), мимикрия, Pinx (транс, экстаз и т.д.) (Кайуа, 2007, стр. 52-64). Тот факт, что каждый из вариантов мимикрии (травести, камуфляж, устрашение) может сочетаться с другими формами игры, делает вероятное число мимикрии намного больше и разнообразней, чем можно было бы предполагать.

Таким образом, само определение процессов «игр в индейцев» легко попадает под определение мимикрии. Однако, здесь нужно быть очень осторожными в оценках этих явлений. Сам Бхабха использовал термин «мимикрия» для колониального и постколониального субъекта, не связанного с доминирующей культурой. Мимикрия была механизмом, с помощью которого покоренные народы встраивались в доминирующую культуру. Мимикрия была выражением процесса гибридизации. С ее помощью объект колониального угнетения «адаптировался»¹ к новой культуре угнетателей, встраивался в новую культурную среду. То, что мы назвали в ряде своих предыдущих работ трансгрессий (Якушенков & Якушенкова, 2014).

В данном случае у нас не объект колонизации, а один из субъектов. Правда и сам субъект может легко оказаться (или уже оказывался) на позиции объекта. Шотландцы, ирландцы, уэльсцы – они все в той или иной мере были объектами колонизации со стороны английских властей. И здесь, на территории Пенсильвании, они оказались вытесненными из политического поля, так как оно в полном объеме было занято квакерским меньшинством. Поэтому не исключено, что они действительно могли ассоциировать себя с угнетенными коренными народами, солидаризироваться с ними.

¹ Хотя Лакан был против этой функции мимикрии (Лакан, стр. 109), мы бы не стали сбрасывать ее со счетов. Как нам кажется, не следует искать лишь одну функцию. Феномен мимикрии существует на пересечении нескольких функций. Но в данном случае для простоты описания нам проще употреблять термин «адаптация».

Вместе с тем, это лишь предположение, которое сложно подтвердить или опровергнуть. Хотя именно бездеятельность квакеров, настроенных миролюбиво по отношению к коренным народам и выступающих против войны с индейцами, заставили Пакстонских мальчиков действовать самостоятельно и направить свой гнев против мирной группы индейцев-христиан, живущих по соседству. Так они реализовывали свое понимание «правосудия».

Поэтому, говоря о мимикрии мы должны очень осторожно подходить к этому вопросу. В интерпретации Бхабхи мимикрия часто соседствует с «иронией» и «издевкой». По сути она даже и представляет собой «иронический компромисс» (Bhabha, p. 86). Об иронии мимикрии говорит и К. Смит-Розенберг (Smith-Rosenberg, 2012, p. 193).

Мы не склонны полагать, что члены рыболовецких клубов Пенсильвании и «псевдомохоки» Бостона встраивались в культурный ландшафт Колонии с индейскими «регалиями» выражали какую-то иронию или издевку. Не собирались они и замещать коренных американцев, выдвинутых за пределы культурного ландшафта, на чем настаивала Р. Грин.

На наш взгляд, во всех вариантах «игр в индейцев» мы сталкиваемся со сложным феноменом, который не всегда может быть сведен к одному мотиву поведения участников подобных действий. Внешняя сторона всего этого, по нашему мнению, очень напоминает «общество спектакля» (по Ги Дебору). Американский профессор Стефани Меррим, анализирувшая «общество спектакля» в Латинской Америке, выделяет три координаты этого феномена в Новом Свете, «каждый из которых типичен в своем роде: это Новый Мир *города* Нового Света, их *фестивали*, и различные грани этого такого мультиплексного явления как *чудо*» (Merrim, p. 3). Когда пересекаются все три координаты, то и образуется, по мнению этого автора, общество спектакля, или «город спектакля».

Правда, по нашему мнению, не стоит сводить это понятие лишь к пересечению трех координат. Если с такими координатами, как *чудо* и *фестивальность* все понятно, то не совсем понятно включение в этот список города Нового Света. Не ясно можно ли говорить про все города, или только некоторые. Какие признаки необходимы, чтобы мы включили город в этот список? В своих характеристиках *нового города* автор прибегает к идеям «город букв» А. Рамы, о которых мы уже говорили чуть выше. То есть, *новый город* формировался на пересечении двух координат «города порядка» (*Ciudad ordenada*) и «города букв» (*Ciudad Letrada*, «просвещенный город»). Как мы уже говорили, все эти признаки в полной мере наличествуют в таких

городах как Филадельфия и Бостон, Нью-Хейвен и т.д. В качестве отправных точек для подобного списка городов можно взять список так называемых «колониальных колледжей» США, являвшихся своеобразными центрами не только грамотности, но и сосредоточием интеллектуальной культуры. Многие из подобных колледжей возникают именно в середине XVIII в., хотя два подобных колледжа (Гарвард и колледж Вильгельма и Марии) были основаны еще в XVII в., а Йель в 1701 г.. Не во всех этих центрах дух «просвещенного города» проявлялся в равной мере. И не следует думать, что одно лишь наличие подобного университета (колледжа) автоматически делала город «просвещенным». Напротив, университет, как правило, был следствием просвещенности и нередко инициировался такими просвещенными людьми. Самое главное, что в «новых городах» интеллектуальной элиты формировалась новая эпистема, которая, с одной стороны, уходила своими корнями в Старый Свет, но выкристаллизовалась в новые формы, так как Новый Свет требовал новые знания и новые практики.

Если продолжать и дальше использовать анализ Меррим «города спектакля» в Латинской Америке для выявления аналогий в Новой Англии, стоит обратить и еще на один аргумент из ее анализа: «К началу семнадцатого века креолы стали доминировать в мексиканской и перуанской литературных кругах. К концу века, они использовали свое положение благоприятно для формулирования и распространения настроений, которые стали основой для прототипа национализма, который в конце концов стимулировал независимость от Испании» (Merrim, p. 4). Как нам кажется, этот протонационализм в не меньшей степени был выражен и в «креольском» населении Новой Англии.¹ В конечном итоге эта новая идентичность и привела их к Революции. Среди других факторов идеологического своеобразия населения городов Перу и Мексики С. Меррим называет также их симпатии к индейцам (Merrim, p. 4).

Фестивальность, на которую указывает С. Меррим, была не столь характерным явлением для городов Новой Англии. Во многом фестиваль города в Латинской Америке вырос на сочетании католической колониальной культуре и местном автохтонном ландшафте, полным колорита, вычурности и театрализованности.

Замкнутой, обращенной внутрь себя культуре квакеров Пенсильвании была чужда фестивальность. Впрочем, и другие протестантские конфессии тоже строились на этом принципе.

¹ Мы используем термин «креольский» в метафору, подразумевая под ней население, которое связывало себя с Новым Светом и противопоставляло Старому. Кроме этого, этот термин в Латинской Америке включает всех, кто родился в Новом Свете.

Стремление к фестивальности и празднику могло закончиться для участников и организаторов подобного действия печально. Достаточно вспомнить историю Томаса Мортонa, посаженного пуританами в тюрьму за попытку организации народного праздника возведения Майского дерева в 1628 г.. Губернатор Плимутской колонии Уильям Брэдфорд крайне негативно отнесся к поведению Мортонa, к его веселому времяпрепровождению, общению с индейцами и особенно индейскими женщинами, которых он приглашал на праздники. Все это было воспринято как язычество: «Они установили Майское дерево, пили и плясали много дней вокруг него, пригласили индейских женщин в качестве партнерш для танцев и развлечений (наподобие фей или скорее фурий) и еще более худших дел. Все это словно они возрождали и отмечали праздник римской богини Флоры или скотские практики сумасшедших Вакханалий» (Bradford, p. 237). Все раздражало пуритан, любая веселость казалась им вызовом их религиозным принципам.

Поэтому фестивальность, праздник, гедонические принципы вырастали в тех местах, где религиозная культура не могла их контролировать. Как мы уже говорили, подобными местами были таверны, в которых общество праздника, чревоугодия и остроумия искало свои формы самовыражения. Именно на этой базе в дальнейшем начали формироваться и общественные объединения.

Не удивительно, что такие компании как Колония в Скукеле и Форта Св. Дэвида в основе своей формировались вокруг культуры застолья, культуры изобилия. Лишь на одну встречу членов компании повара готовили около полутысячи сомов, выловленных около Форта Св. Дэвида (Watson, p. 374). Местные уголья были полны дичи, в реках водилось огромное количество рыбы. За один раз сетью можно было выловить несколько пару тысяч сомов, которые продавались по два шиллинга за сотню. Именно поэтому члены «общества спектакля» объявляли войну всему этому изобилию. Найденные запасы должны быть уничтожены, ведь дальше в лесах их ждало еще большее изобилие. И пусть это было выражено в шуточной и весьма гротескной форме, но, по сути, все эти воззвания к членам общества были своеобразным манифестом гедонизма. Поэтому мы согласны с У. Крононом о превращении общества изобилия в общество опустошения. Но не будем повторять об этом еще раз.

Одеваясь в индейские костюмы, они творили фестиваль, но в этом не было издевки, не было насмешки, это была попытка самовыражения, поиск возможности встраивания в местный культурный ландшафт, который, вне всякого сомнения, представлял собой гетеротопию, т.е. совокупность множества культурных

пространств, часто весьма плохо «пригнанных» друг к другу, постоянно соперничающих друг с другом и стремящихся нередко к взаимному уничтожению или вытеснению друг друга. В этой системе символов и метафор индеец представлял собой неоспоримое право на землю. Именно вопрос наследования и связи с землей, как полагает американская исследовательница К. Росс, метисные авторы в Латинской Америке были постоянно «озабочены проблемами родства, наследования и возмещения, и все, используют историю в качестве транспортного средства для установления претензии на прошлое» (Ross, p. 142). У «новых американцев» не было возможности выразить свои права на «американское» наследство, однако никто им не мешал выразить им свои претензии на американскую историю, на особую американскую культуру. Встраивая себя в эту культуру, обозначая себя в качестве приемников коренных индейцев в их праве на землю, они создавали линию наследования, что по сути делали и писателя-метисы в Латинской Америке.

Последняя координата «общества спектакля», о которой говорила С. Меррим, является, по ее мнению, *чудо*. Если этот аспект «города спектакля» или «общества спектакля» в Латинской Америке очевиден, так как тесно связан с фестивальностью, склонностью к различным церемониям, процессиям, изощренным обрядам и ритуалам, то это не так заметно в городах Новой Англии. Пуританская культура в значительной степени инвертирована внутрь человека, в ней нет этого подчеркнутого стремления к театральности и церемониальности, свойственных католической и православной церквям.

Значит ли это, что «общество спектакля» Новой Англии лишено этой координаты? Здесь нет вычурных религиозных процессий, крестных ходов, постоянное открытие новых пышных храмов. Мы не хотим сказать, что протестантизм напрочь лишен «чуда». Все те конфессии, где были ярко выраженные экстатические тенденции, в той или иной степени связаны с концепцией «чудесного». Однако, в любом случае это «чудо» не носит массового характера. Оно от *чудесного* смещается в область *мистического*. Католическая вера в Латинской Америке постоянно порождала «чудеса», массовые видения, формировала новые переживания, возникавшие на уровне гибридность, смеси местных культов и католицизма. Чудо в протестантизме намного «интимнее», направлено на замкнутый круг единомышленников, объединенных в общины.

Значит ли это, что координата *чуда* отсутствует в обществе спектакля в Новой Англии? Ответ на этот вопрос достаточно прост. Чудо постоянно создавалось и осознавалось колонистами. Можно

выделить две тенденции чудесного в повседневных практиках. Первое чудо относится к экзистенциальным проявлениям жизни колонистов, строящих «новое общество». Страна изобилия, представшая перед переселенцами, воплощала собой их мечту. Мы уже говорили о том, что природные ресурсы Новой Англии были столь значительны, что формировали особое отношение к природе. Обратной стороной этой чудесной страны был некоторый страх перед бескрайними просторами, неподвластными силами природы и т.д.

Другая тенденция формирования чудесного проявилась совершенно на другом уровне. И в этом плане общество Сынов Св. Таммани явилось лучшим примером подобного конструирования чуда на американский манер. Колонисты, за неимением своего святого, быстро создают свой вариант святости, заикленный именно на них самих. Самое интересное, что общество Св. Таммани начинает функционировать на основе традиций Старого Света, основываясь в своих практиках на традиционных святых-покровителях: Св. Патрике, Св. Давиде, Св. Андрее. Новые условия жизни колонистов неизбежно приводили их к новым повседневным практикам, что в свою очередь формировало гибридную культуру, в основе которой лежали, как старые европейские культуры (шотландцев, ирландцев, валлийцев, немцев и т.д.), так и отдельные элементы автохтонных культур. В результате Рыболовная компания Форты Св. Дэвида получает свое название по имени святого покровителя валлийцев Св. Давида.

Все это нашло свое отражение в календарных мероприятиях Колонии в Скукеле. Основные собрания проходили два раза в год: в марте и октябре. Но охотничий сезон начинался с первого мая. После этого встречи проходили по четвергам два раза в месяц (Milnor, p. 22). Все это наводит на мысль, что все эти события были привязаны к основным святым покровителям: День Св. Патрика отмечали 17-го марта, День Св. Дэвида 1-го марта, 1-го мая был связан со святыми Филиппом и Яковом. Именно в честь них водружал свое Майское дерево уже упомянутый Томас Мортон (Morton, p. 276).

Но американцы идут еще дальше. Для нового народа нужны новый святой и новые чудеса. Этим святым и становится индейский вождь делаваров Таманенд, а основным чудом – его акт дарения и мира. Создаются и легенды о его праведной жизни, а он объявляется одним из величайших людей на Земле.

В песне, посвященной Таммани, говорилось:

Об Андрее, Патрике, Давиде и Георгии

Мы слышали много и их славных делах.

Но никто не рассказывает про подвиги Таммани,

Хоти они более героические, мои храбрые мальчики,

Гораздо более героические! (Cabeen, 1902 (2), p. 218).

Сложно сказать, когда культ Таммани покинул «стены» клуба Колонии в Скукеле, став частью народных гуляний в Филадельфии. Его сначала чествовали как короля, а затем он превратился в святого.

К началу 70-х гг. XVIII в. День св. Таммани (1 мая) уже стал отмечается в Филадельфии почти как национальный праздник. Жительница Филадельфии мисс Сара Ив записала в 1773 г. в своем дневнике: «1 мая. Начало утра ознаменовалось колокольным звоном в память о короле Таммани, как его обычно называли, но теперь я думаю, они канонизировали его, ибо теперь его чествуют как Святого Таммани» (Eve, pp. 29-30). Участники празднества водружали Майское дерево, вывешивался флаг Филадельфии. Как правило главные действующие лица празднества облачались в индейские одежды, нередко их головы выбриты, тела расписаны на индейский манер. На официальной церемонии выбирался главный вождь и 13 сахемов (индейских вождей), символизирующих 13 штатов.

Сложно сказать, когда затея Колонии в Скукеле переросла в некий политический и культурный спектакль, в который оказались вовлеченными самые разнообразные слои филадельфийского общества. В мероприятиях, связанных с чествованием индейского вождя, принимали участие высокопоставленные лица города: военные, чиновники, священники, ученые и т.д.

Это были лица самых различных политических убеждений. Были среди них лоялисты, а были и страстные патриоты (Cabeen, 1901, pp. 446-450). Поэтому было бы наивно полагать, что действия Сынов Таммани явились результатом лишь настроений, вызванных процессом «нативизации»¹, т.е. осознанием своей связи с американской землей. Но то, что подобная организация стала еще более популярной после революции, можно сказать однозначно. Если в 1773 году она насчитывала около ста пятидесяти членов, то спустя 10 лет их было больше двухсот пятидесяти. Увеличение более чем на сто человек нельзя считать значительным, однако, мы должны принять во внимание, что большое число лоялистов вернулось в Англию, так что увеличение было значительным.

Мы не можем сбрасывать со счетов нативизацию участников подобных мероприятий. Интересно и то, что проходили они не только в Филадельфии, но и в других городах. Чествование 1-го мая Дня Св.

¹ В данном случае под термином «нативизация» мы понимаем не культурную трансгрессию субъекта, вызванную заимствованием элементов культуры коренных народов, а тенденцию соотнесения себя с «новой землей». Он перестает ощущать себя приезжим, стараясь представить себя связанным с землей, на которой он проживает в данный момент. В данном контексте термин «нативизация» равнозначен понятию американизация.

Таммани зафиксировано в Аннаполисе (Мэриленд) еще в 1771 г.. Английский колониальный чиновник У. Эддис оставил нам подробное описание этого события в одном из своих писем, датированным 24 декабря 1771: «Мало мест, где молодежь может быть чаще удовлетворена возможностями общения, чем в этой стране. Помимо наших регулярных собраний, особое внимание уделяется покровителю каждого землячества; и Св. Георгий, Св. Андрей, Св. Патрик и Св. Давид отмечаются со всеми национальными особенностями.

У американцев в этой части континента также есть Святой, история которого, как и у вышеперечисленных почетных персонажей, затеряна где-то в легендах и неопределенности. Первое мая, однако, особо выделяется в честь памяти Святого Тамина, и в этом случае местные жители прикрепляют олений хвост к своим шляпам, а также в ряде других особых ситуаций. В середине вечера, и, как правило, в разгар танца, происходящее прерывает внезапное вторжение несколько человек, ведущих себя, как индейцы, которые врываются яростно в комнату, распевают военные песни, издают крики и танцуют на подобии этих людей; после этой церемонии и полученного вознаграждения, они ретируются, вполне довольные их приемом и развлечением» (Eddis, pp. 114-115).

Однако, в этом описании мы больше видим не институализированное официальное мероприятие, а вполне народный ритуал агонического свойства. Правда, в них есть несколько интересных особенностей. Прежде всего, они проходили довольно таки мирно, там нет накала, нет подлинного агона. Сражение только обозначается, это скорее спектакль, чем реальный архаичный ритуал. Участники этого действия больше зрители, чем агонические акторы. Их участие условно и не требует жертвенности. Интересно, и другое: выбор в этом ритуале определен в пользу «индейцев», точнее тех американцев, которые действуют от лица индейцев: ворвавшаяся во время танцев группа «индейцев» индейцев изображает нападение на собравшихся, а после получения подношений удаляются радостные. Таким образом, они как бы получают причитающееся им. В этих действиях нет триумфа одной из сторон, это скорее зарисовка или инсценировка фронтирной жизни – дань прошлым событиям.

Сложно сказать, в какой момент культ Св. Таммани вышел за пределы народной традиции, став частью политической системы и превратившись в особую организацию. И хотя Сара Ив и Уильям Эддис уже говорят о канонизации Таммани, как нам кажется, это не произошло повсеместно, нередко в чествованиях Первого мая он все еще остается просто королем. Джон Адамс в письме, предположительно своей жене Абигейл Адамс, написанной 1 мая 1777

г., называет Первое мая днем короля Таммани: «Это день короля Таммани. Когда мистер Пенн впервые приехал сюда, Таммани был индейским королем в этой части континента. Его суд был в этом городе. Он был дружелюбен к мистеру Пенну и очень полезен ему. Он жил здесь среди первых поселенцев до глубокой старости и наконец был сожжен.

Некоторые говорят, что он жил здесь с мистером Пенном, когда тот впервые приехал сюда, и по возвращении мистера Пенна он услышал об этом и призвал своих внуков, чтобы те привели его к этому месту, чтобы увидеть своего старого друга. Но они ушли и оставили его слепыми и немощным. Старик, оказавшись покинутым, разжег огромный костер и бросился в него. Люди объявили его святым и сохраняют память о нем в этот день» (Butterfield & Friedlaender, p. 229).

В 1778 г. в армии генерала Вашингтона Первого мая тоже отмечали праздник короля Таммани. Майские деревья были установлены у каждого полка в лагере: «День прошел в радости, и веселые солдаты маршировали под звуки дудок и барабанов и кричали ура, когда проходили мимо майских деревьев. Сержант 3-го полка был одет на индейский манер, изображая короля Таммани, а 13 остальных сержантов одеты в белое, в левой руке каждый держал лук, а в правой тринадцать стрел» (Ewing, p. 44).

В 1781 г. было организовано общество Таммани в Нью Джерси, в Ричмонде и Саванне в 1786 г., вначале 80-х в Нью Йорке (Walsh, p. 84). Первоначально не было единого наименования подобных обществ. Распространение получила сама идея. Но постепенно общества стали отказываться от статуса Таммани в качестве короля, переводя его в статус святого. Осмелимся предположить, что решающую роль в этом сыграли революционные события и свержение британской тирании. В предыдущий период Таммани выступал как король, альтернативный британскому. Именно от него, а не от британской короны, колонисты получали землю. Темы свободы и мира были одним из основных в песнях и гимнах, посвященных св. Таммани. Как нам кажется, вполне закономерно, что основное развитие символика Св. Таммани получила именно в Филадельфии, так как темы мира, свободы и равноправия были здесь одними из основных. Именно поэтому именно здесь Король превращается в Святого, вытесняя все другие функции, а торжества по случаю его дня начинаю проходить особенно торжественно.

Следует ли считать этот образ суррогатным? Конечно нет! Это был типичный гибридный образ, создаваемый в рамках основных культурных традиций. И хотя он не вписывается в концепцию

гибридности Бхабхи, так как возникал не среди индейского населения, а среди белого, которое, однако, можно охарактеризовать как лиминальное, так как оно оказывалось на периферии и испытывало гнет со стороны Британской короны. Ирландцы и шотландцы сами ощущали свою принадлежность к угнетенным народам, впрочем, это не мешало им другие угнетенные народы уничтожать.

Образ Св. Таммани был закономерной формой развития новой культуры, являющейся гибридной в самом широком смысле. Как мы указывали выше, светская культура Пенсильвании формировалась на основе самых различных этнических культурах (английской, ирландской, шотландской, валлийской, немецкой и т.д.), к этому следует добавить различный религиозный контекст, который с одной стороны дополнял эту гибридную культуру, а с другой выступал противовесом и даже антитезой нарождающейся светской культуре. Бурное развитие экономики и культуры городах Новой Англии в XVIII в. создало исключительную среду, которую мы, по аналогии с термином А. Рамы, назвали *City of Belles Lettres* – Городом Изящной Словесности. Это был город (точнее города), чья культура формировалась как культура общества спектакля, культуры изобилия, светского праздника и образования. Она формировалась на стыке народной и элитарной культуры, подпитываясь обеими. Поэтому нет ничего удивительного, что, начавшись как народный культ, берущий свое начало в культах святых покровителей Старого Света, образ святого, представителя коренного населения, постепенно превратился в официальный культ, ставший политическим инструментом. В 1783 г. традиционный майские деревья заменены на флагштоки, на которых были флаг Пенсильвании, справа развивался флаг Франции, а слева – Голландии. Были салюты из пушек, выборы сахемов, ритуальные томагавки и огромных размеров калумет, конечно, официальные речи и 13 тостов (Cabeen, 1902 (2), p. 216-217). Все это уже не напоминает неформальные действия начала зарождения данного ритуала. Здесь все максимально официально и направлено на государственные интересы.

Значит ли это, что в символе образа индейца не было суррогатности? Конечно, была. Но эта суррогатность более позднего функционирования обществ Св. Таммани. В XIX в. этот образ потерял свою значимость, превратившись в пустой символ, доставшийся им по наследству. Св. Таммани стал своеобразным политическим аналогом деревянной статуи индейца, стоящей рядом с индейской лавкой. Поэтому неудивительно, что со временем некоторые общества Сынов Св. Таммани стали символом коррумпированности. Ги Дебор, описывая общество спектакля, для первой главы своей книги (стр. 23)

в качестве эпиграфа фразу Л. Фейербаха, которая как нельзя лучше характеризует описанную нами ситуацию: «В наше время, предпочитающее образ самой вещи, копию – оригиналу, представление – действительности, видимость – сущности, такое превращение является разочарованием и, следовательно, абсолютным отрицанием или по крайней мере дерзкой профанацией, ибо священна только иллюзия, истина же нечестива. В представлении современников святость возрастает по мере того, как уменьшается истина и растет иллюзия, так что высшая ступень иллюзии в то же время составляет для них высшую ступень святости» (Фейербах, стр. 18). Эта фраза Фейербаха как нельзя лучше характеризует все то, что происходило с образом Таммани в сознании американцев.

Правда, не следует забывать, что в первой части нашего анализа мы приводили другие примеры использования образа индейца. Это были и участники Бостонского Чаепития, и различные группы, наподобие Пакстонских мальчиков, и прочие другие, которые рядились в индейские одежды, выступая псевдоиндейцами, для достижения своих целей.

Конечно, между культом Таммани (короля или святого) и их поведением существует огромная разница. В одном случае образ индейца выступал в качестве символа мудрости и святости, а в другом, он должен был наводить ужас на тех, кому он был адресован. Правда, и первый, и второй вариант поведения, получившего название «игр в индейцев», как мы уже говорили, следует отнести к мимикрии, точнее колониальной мимикрии, встраивания себя в Чужого, адаптации к новым культурным условиям. Однако, цели у этого механизма, а значит и варианты его использования, были различны. В одном случае (Таммани) мимикрия использовалась для адаптации (камуфляж) к новым условиям, в другом, для устрашения (Лакан, стр. 110).

Но, анализируя все эти образы индейца, используемые белым обществом, не следует забывать, что все эти варианты типологически относятся к разным периодам коммуникации с фронтальным Чужим/Другим.

Выделяют три разных стратегии коммуникации с фронтальным Чужим: раннефронтальную, активную фазу и постфронтальную (Якушенкова, 2013). Как нам кажется, во всех этих разнообразных вариантах образа индейца мы сталкиваемся с разными стадийными моделями коммуникации. Пакстонские мальчики, с их ненавистью и страхом перед индейской угрозой представляли собой модель коммуникации, характерной для активного фронта, когда преобладают конфликтные стратегии. Образ индейца призван был

устрашить противника, он говорил о свирепости, решительности и даже дикости носителя индейских атрибутов.

Превращение Таммани в святого – это типичная модель постфронтирной коммуникативной стратегии. Правда, в XVIII в. эта модель могла сосуществовать с моделями активной фазы. Разница проистекала в самой среде, в которой рождались эти символы. Крупные города, такие как Филадельфия, уже перешли в стадию постфронтира, в то время как на Западе, разворачивался самый настоящий милитаризованный фронт, с взаимными военными рейдами, ненавистью по отношению к индейцам, геноцидом и т.д.

Закономерно, что новая волна постфронтирной стратегии в США приходится на вторую половину XX в., хотя начало этой волны можно обнаружить еще в 30-е гг., когда зарождался новый интерес к индейской культуре и американцы открывали для себя автохтонный культуры, стараясь по-новому вписать их в современный американский ландшафт. Именно в 60-70-е гг. и проявился активный запрос на нового индейца, который в конечном итоге вырос в культурный поиск «мудрого индейца», учителя и философа (Якушенков & Якушенкова, 2016, стр. 120-123).

Правда, и в этот период образ индейца может помещаться в разные семантические поля американской культуры. Он может поляризоваться, располагаясь на разных полюсах, проявляя себя в разных вариантах. И здесь уместно вспомнить известные казусы с использованием индейской символики современными американскими спортивными командами. Как и в случае с фронтирными эпизодами переодевания в индейцев, спортивная индейская атрибутика говорила о решительности, смелости и неистовстве тех, кто ее использовал. Она указывала на агонический характер действия, в котором исход борьбы зависел от решительности и храбрости участников. Конечно, это были все фальшивые атрибуты, но в любом случае, они апеллировали к славным страницам американской истории, в которых индейские воины играли важнейшую роль.

Список литературы

- Abrahams, R. D. (2002). White Indians in Penn's City: The Loyal Sons of St. Tammany. In W. Pencak, M. Dennis, & S. P. Newman (Eds.), *Riot and Revelry in Early America* (pp. 179-2004). University Park, PA: The Pennsylvania State University Press.
- Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*. London: Routledge.
- Bradford, W. (1856). *History of Plimoth Plantation*. Boston: Privetly printed.

- Bridenbaugh, C. (1964). *Cities in the Wilderness: The First Century of Urban Life in America 1625-1742*. New York: Caprikorn Books.
- Brogden, H. H. (1884). Restoration of the Schuylkill Gun to "The State in Schuylkill," April 23d, 1884. *The Pennsylvania Magazine of History and Biography*, 8(2), 199-215.
- Butterfield, L. H., & Friedlaender, M. (Eds.). (1963). *Adams Family Correspondence: June 1776-March 1778*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.
- Cabeen, F. A. (1901). The Society of the Sons of Saint Tammany of Philadelphia. *The Pennsylvania Magazine of History and Biography*, 25, 433-451.
- Cronon, W. (1983). *Changes in the Land*. New York: Hill and Wang.
- Deloria, P. J. (1998). *Playing Indian*. New Haven: Yale University Press.
- Eddis, W. (2009). *Letters from America*. Bedford, Massachusetts: Applewood Books.
- Eve, S. (1881). Extracts from the Journal of Miss Sarah Eve. *The Pennsylvania Magazine of History and Biography*, Vol. 5, No. 1, 5(1), 19-36.
- Ewing, G. (1928). *George Ewing, gentleman, a soldier of Valley Forge*. New York: Yonkers, N.Y., Priv. Print. by T. Ewing.
- Fanon, F. (1967). *Black Skin, White Masks*. London: Pluto Press.
- Green, R. (1988). The Tribe Called Wannabee: Playing Indian in America and Europe. *Folklore*, 99, 30-55.
- Hale, H. E. (1896). The Schuylkill Gun and its Motto. *The American antiquarian*, XVIII, 24-29.
- MacGregor, A. L. (1983). The Indian as Rhetorical Surrogate. *American Quarterly*, 35(4), 391-407.
- Merrim, S. (2010). *The spectacular city, Mexico, and colonial Hispanic literary culture*. Austin: University of Texas Press.
- Milnor, W. (1830). *An authentic historical memoir of the Schuylkill Fishing Company of the State in Schuylkill : from its establishment on that romantic stream, near Philadelphia, in the year 1732, to the present time*. Philadelphia: Judah Dobson.
- Morton, T. (1883). *The New English Canaan*. Boston: Prince society.
- Norwood, J. W. (1938). *The Tammany Legend (Tamanend)*. Boston: Meador Publishing Company.
- Rama, A. (1996). *The Lettered City*. Durham: Duke University Press.
- Ross, K. (1996). Historians of the conquest and colonization of the New World: 1550-1620. In R. G. Echevarría, & E. Pupo-Walker (Eds.), *The Cambridge History of Latin American Literature* (Vol. 1, pp. 101-142). New York: Cambridge University Press.

- Shields, D. S. (1994). Anglo-American Clubs: Their Wit, Their Heterodoxy, Their Sedition. *The William and Mary Quarterly*, 51(2), 293-304.
- Shields, D. S. (1997). *Civil Tongues and Polite Letters in British America*. Chapel Hill: UNC Press Books.
- Smith-Rosenberg, C. (2004). Surrogate Americans: Masculinity, Masquerade, and the Formation of a National Identity. *PMLA*, 119(5), 1325-1335.
- Smith-Rosenberg, C. (2012). *This Violent Empire: The Birth of an American National Identity*. Williamsburgh: UNC Press Books.
- Sunderland, W. (1996). Russians into Iakuts? "Going Native" and Problems of Russian National Identity in the Siberian North, 1870s-1914. *Slavic Review*, 55(4), 806-825.
- The Society of the Friendly Sons of St. Patrick. (1844). *A Brief Account of the Society of the Friendly Sons of St. Patrick. With Biographical Notices of Some of the Members, and Extracts from the Minutes*. Philadelphia: The Hibernian Society.
- Thompson, P. (1989). "The Friendly Glass": Drink and Gentility in Colonial Philadelphia. *The Pennsylvania Magazine of History and Biography*, 113(4), 549-573.
- Walsh, M. W. (1997). May Games and Noble Savages: The Native American in Early Celebrations of the Tammany Society. *Folklore*, 108, 83-91.
- Watson, J. F. (1830). *Annals of Philadelphia, being a collection of memoirs, anecdotes, and incidents of the city and its inhabitants, from the days of the Pilgrim founders*. Philadelphia: E. I. Carey & A. Cart.
- Дебор, Г. (2000). *Общество спектакля*. М.: Логос.
- Кайуа, Р. (2003). *Миф и человек. Человек и сакральное*. М.: ОГИ.
- Кайуа, Р. (2007). *Игры и люди; Статьи и эссе по социологии культуры*. М.: ОГИ.
- Лакан, Ж. М.-Э. (2004). *Четыре основные понятия психоанализа (Семинары. Книга XI. 1964)*. М.: Гносис; Логос.
- Романова, А. П., Хлыщева, Е. В., Якушенков, С. Н., & Топчиев, М. С. (2013). *Чужой и культурная безопасность*. М.: РОССПЭН.
- Тернер, Ф. Д. (2009). *Фронтир в американской истории*. М.: Весь Мир.
- Фейербах, Л. (1995). *Сущность христианства*. В Л. Фейербах, *Сочинения* (Т. 2). М.: Наука.
- Якушенков, С. Н., & Якушенкова, О. С. (2014). Трансгрессия в условиях гетеротопных пространств фронта. *Каспийский регион: политика, экономика, культура*, (3) 276-284.

- Якушенков, С. Н., & Якушенкова, О. С. (2016). «ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ»: формирование новой инаковости в условиях фронта. *Журнал фронтирных исследований*(1), 9-21.
- Якушенков, С. Н., & Якушенкова, О. С. (2016). Отражение постфронтирных процессов в американском кинематографе. *Журнал фронтирных исследований*(1), 116-125.
- Якушенкова, О. С. (2013). *Женщина на американском фронтире*. Астрахань: Сорокина Р.В.

SEMANTIC DIVERSITY OF IMAGES OF THE INDIAN IN NEW ENGLAND IN THE XVIII CENTURY. PART 2.

Yakushenkov S.N.

Yakushenkov Serguey Nickolayevich, Astrakhan State University,
414056, Astrakhan, Russia, Tatischeva Str., 20a.
E-mail: shuilong@mail.ru

Article continues the semantic analysis of images of Native Americans in the public discourse of New England in the 18th century. The emphasis in this article is made on the formation in New England of the culture of American intellectuals who created their secular environment in contrast to the religious culture. The author calls it the City of belles lettres, that was forced to exist within the limits of strict religious restrictions. The only place where the islets of free thoughts remained were taverns or places that were located outside of the city. One such place was the Colony in Schuylkill, representing a community of hunters and fishermen. As enterprises formed around the taverns, it was a society of the hedonistic type. In the trends of the "city of the spectacle" (according Guy Debord), these companies have created a culture of feasts, parades and holidays. The formation of a new culture in New England was held in the framework of "nativisation", i.e. the inclusion into the new culture the elements of traditional cultures of indigenous peoples. Active role in the formation of new hybrid cultures such ethnic components as the Irish, the Scots, the Welsh began to play, within the trends of the political paradigm of opposition to the British administration. So they tried to create a new system of political and cultural relations. Under certain patterns of the ideology of the Quakers, aimed at peaceful coexistence with indigenous peoples, the inclusion into a new culture of name, associated with the Quaker history of Pennsylvania, began to play a special role. As a result, a certain line of symbolic succession ownership of land in the New World was built up, in which a new population of the colonies got land not from the British crown but from the Indian chiefs, whose image begins to play a significant role in the formation of a new secular culture of the society of the spectacle.

Analysis of all these processes is carried out in the framework of the concept of mimicry (after H. Bhabha, Lacan, etc). Also the concept of A. Rama (Ciudad Letrada) of the existence of a special cultural environment in a New World was used, addition to the idea of spectacle by G. Debord.

Key words: Image of the Indian, the Other, Alien, Native Americans, Symbols, New England, Pennsylvania, Hybridity, Mimicry, City of belles lettres, Colony in Schuylkill

References

- Abrahams, R. D. (2002). White Indians in Penn's City: The Loyal Sons of St. Tammany. In W. Pencak, M. Dennis, & S. P. Newman (Eds.), *Riot and Revelry in Early America* (pp. 179-2004). University Park, PA: The Pennsylvania State University Press.
- Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*. London: Routledge.
- Bradford, W. (1856). *History of Plimoth Plantation*. Boston: Privetly printed.
- Bridenbaugh, C. (1964). *Cities in the Wilderness: The First Century of Urban Life in America 1625-1742*. New York: Caprikorn Books.
- Brogden, H. H. (1884). Restoration of the Schuylkill Gun to "The State in Schuylkill," April 23d, 1884. *The Pennsylvania Magazine of History and Biography*, 8(2), 199-215.
- Butterfield, L. H., & Friedlaender, M. (Eds.). (1963). *Adams Family Correspondence: June 1776-March 1778*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.
- Cabeen, F. A. (1901). The Society of the Sons of Saint Tammany of Philadelphia. *The Pennsylvania Magazine of History and Biography*, 25, 433-451.
- Cronon, W. (1983). *Changes in the Land*. New York: Hill and Wang.
- Deloria, P. J. (1998). *Playing Indian*. New Haven: Yale University Press.
- Eddis, W. (2009). *Letters from America*. Bedford, Massachusetts: Applewood Books.
- Eve, S. (1881). Extracts from the Journal of Miss Sarah Eve. *The Pennsylvania Magazine of History and Biography*, Vol. 5, No. 1, 5(1), 19-36.
- Ewing, G. (1928). *George Ewing, gentleman, a soldier of Valley Forge*. New York: Yonkers, N.Y., Priv. Print. by T. Ewing.
- Fanon, F. (1967). *Black Skin, White Masks*. London: Pluto Press.
- Green, R. (1988). The Tribe Called Wannabee: Playing Indian in America and Europe. *Folklore*, 99, 30-55.
- Hale, H. E. (1896). The Schuylkill Gun and its Motto. *The American antiquarian*, XVIII, 24-29.
- MacGregor, A. L. (1983). The Indian as Rhetorical Surrogate. *American Quarterly*, 35(4), 391-407.
- Merrim, S. (2010). *The spectacular city, Mexico, and colonial Hispanic literary culture*. Austin: University of Texas Press.

- Milnor, W. (1830). *An authentic historical memoir of the Schuylkill Fishing Company of the State in Schuylkill : from its establishment on that romantic stream, near Philadelphia, in the year 1732, to the present time*. Philadelphia: Judah Dobson.
- Morton, T. (1883). *The New English Canaan*. Boston: Prince society.
- Norwood, J. W. (1938). *The Tammany Legend (Tamanend)*. Boston: Meador Publishing Company.
- Rama, A. (1996). *The Lettered City*. Durham: Duke University Press.
- Ross, K. (1996). Historians of the conquest and colonization of the New World: 1550-1620. In R. G. Echevarría, & E. Pupo-Walker (Eds.), *The Cambridge History of Latin American Literature* (Vol. 1, pp. 101-142). New York: Cambridge University Press.
- Shields, D. S. (1994). Anglo-American Clubs: Their Wit, Their Heterodoxy, Their Sedition. *The William and Mary Quarterly*, 51(2), 293-304.
- Shields, D. S. (1997). *Civil Tongues and Polite Letters in British America*. Chapel Hill: UNC Press Books.
- Smith-Rosenberg, C. (2004). Surrogate Americans: Masculinity, Masquerade, and the Formation of a National Identity. *PMLA*, 119(5), 1325-1335.
- Smith-Rosenberg, C. (2012). *This Violent Empire: The Birth of an American National Identity*. Williamsburgh: UNC Press Books.
- Sunderland, W. (1996). Russians into Iakuts? "Going Native" and Problems of Russian National Identity in the Siberian North, 1870s-1914. *Slavic Review*, 55(4), 806-825.
- The Society of the Friendly Sons of St. Patrick. (1844). *A Brief Account of the Society of the Friendly Sons of St. Patrick. With Biographical Notices of Some of the Members, and Extracts from the Minutes*. Philadelphia: The Hibernian Society.
- Thompson, P. (1989). "The Friendly Glass": Drink and Gentility in Colonial Philadelphia. *The Pennsylvania Magazine of History and Biography*, 113(4), 549-573.
- Walsh, M. W. (1997). May Games and Noble Savages: The Native American in Early Celebrations of the Tammany Society. *Folklore*, 108, 83-91.
- Watson, J. F. (1830). *Annals of Philadelphia, being a collection of memoirs, anecdotes, and incidents of the city and its inhabitants, from the days of the Pilgrim founders*. Philadelphia: E. I. Carey & A. Cart.
- Debor G. (2000) *Obshchestvo Spektaklya Moskva*: Logos (Debord G. *The Society of the Spectacle*. M.: Logos)

- Kayua R (2003) *Mif i Chelovek. Chelovek i Sakralnoe*. Moskva: Ogi
(Caillois R. (2003) *Myth and Man. Man and the Sacred*. Moscow: Ogi)
- Kayua R. (2007) *Igry i Lyudi. Stati i Esse Po Sotsiologii Kultury*. Mocva: Ogi
(Caillois R. (2007) *Games and Men. The Articles and Essay on the Sociology of Culture*. Moscow: Ogi)
- Lakan Zh M.-E. (2004) *Chetyre Osnovnye Ponyatiya Psihoanaliza Seminary Kniga Xi 1964*. Moskva: Gnosis, Logos (Lacan J.-M.-É. (2004) *The Four fundamental concepts of psycho-analysis. Book 11. 1964*. Moscow: Gnosis, Logos)
- Romanova A. P., Khlyshcheva E. V., Yakushenkov S. N., Topchiev M. S. (2013) *Chuzhoy i Kulturnaya Bezopasnost'*. Moskva: Rosspen
(Romanova A. P., Khlyshcheva E. V., Yakushenkov S. N., Topchiev M. S. *The Allien and Cultural Security*. Moscow: Rosspen)
- Turner F. J. (2009) *Frontir v Amerikanskoy Istorii*. Moskva: Ves' Mir
(Turner F. J. (2009) *Frontier in American History*. Moscow: Ves' Mir).
- Feuerbach L. (1995) *Sushchnost Hristianstva V L Feuerbach Sochineniya* (T 2) Moskva: Nauka (Feuerbach L. von (1995) *The Essence of Christianity Feuerbach L. Selected Works*. (Vol. 2) Moscow: Nauka)
- Yakushenkov S. N., Yakushenkova O. S. (2014). *Transgressiya v Usloviyah Geterotopnyh Prostranstv Frontira Kaspiyskiy Region Politika Ehkonomika Kultura* (3) 276-284 (Yakushenkov S. N., Yakushenkova O. S. (2014) *Transgression in the Frontier Heterotopia Caspian Region: Politics, Economy, Culture* (3), 276-284)
- Yakushenkov S. N., Yakushenkova O. S. (2016) *Vlast' Zemli: Formirovanie Novoy Inakovosti v Usloviyah Frontira. Zhurnal Frontirnyh Issledovaniy* (1), 9-21 (Yakushenkov S. N., Yakushenkova O. S. (2016) *The Power of Land: The Formation of Otherness in the Frontier. Journal of the Frontier Studies* (1), 9-21).
- Yakushenkov S. N., Yakushenkova O. S. (2016) *Otrazhenie Postfrontirnyh Protsessov v Amerikanskom Kinematografe. Zhurnal Frontirnyh Issledovaniy* (1) 116-125 (Yakushenkov S. N., Yakushenkova O. S. (2016) *The Reflection of Postfrontier Process in the American Movies. Journal of Frontier Studies* (1), 116-125)
- Yakushenkova O. S. (2013) *Zhenshchina na Amerikanskom Frontire* Astrahan: Sorokin R. V. (Yakushenkova O. S. (2013) *Woman on the American Frontier*. Astrakhan: Sorokin R.V)

ISSN: 2500-0225

ЖУРНАЛ ФРОНТИРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Научный электронный журнал

**www.jfs.today
www.frontierstudies.com**

№1 (9)

2018

ISSN: 2500-0225

JOURNAL OF FRONTIER STUDIES

Scientific e-journal

**www.jfs.today
www.frontierstudies.com**

№1 (9)

2018